

БОРИС ПИЛЬНЯК ДВОЙНИКИ

# ДВОЙНИКИ



Бор. Пильняк

ОРИ

---

БОРИС ПИЛЬНЯК  
**ДВОЙНИКИ**

---

---

BORIS PILNIAK  
**DVOÏNIKI**

---

VSTUPITEL'NAÏA STAT'À  
I PODGOTOVKA TEKSTA  
MIKHAILA HELLERA

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD  
LONDON 1983

---

БОРИС ПИЛЬНЯК  
**ДВОЙНИКИ**

---

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ  
И ПОДГОТОВКА ТЕКСТА  
МИХАИЛА ГЕЛЛЕРА

**Boris Pilniak: DVOINIKI**  
Edited and introduced by Mikhail Heller

First Russian edition published in 1983  
by Overseas Publications Interchange Ltd  
8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Overseas Publications Interchange Ltd, 1983

**All rights reserved**

No part of this publication may be reproduced,  
in any form or by any means, without permission.

**ISBN 0 903868 15 6**

Cover design by Danuta Niekrasow-Heller

Printed in Great Britain  
by Short Run Press Limited, Exeter

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Михаил Геллер: Исчезнувший роман . . . . .	7
Примечания . . . . .	20
Двойники . . . . .	21



## ИСЧЕЗНУВШИЙ РОМАН

„Рукописи не горят” – бодро утверждает в *Мастере и Маргарите* дьявол. Оптимизм лукавого не должен обманывать: горят рукописи. История советской литературы дает тому не мало примеров. Но эта же история свидетельствует о том, что случаются чудеса.

Судьба романа Бориса Пильняка *Двойники* не менее интересна, чем его содержание. *Двойники* были написаны в 1933 г. К этому времени писатель дважды был объектом суровых поучений: в 1926 г. после *Повести непогашенной луны*, где изображалась смерть командарма Гаврилова на операционном столе, живо напомнившая современникам смерть наркомвоенмора Фрунзе (на операционном столе), и в 1929 г. после *Красного дерева*, где выражалась горечь по утерянному надеждам. Дважды Пильняка прощали. Второй раз пришлось заплатить не только публичным покаянием, но и романом *Волга впадает в Каспийское море*, опровергавшим *Красное дерево*. Раскаяние было учтено. В 1930 г. *Малая советская энциклопедия* беспощадна: „Политическая беспринципность этого представителя буржуазной интеллигенции резко сказалась в его повести *Красное дерево*; обывательско-тенденциозное искажение происходящего в СССР социалистического строительства и издание этой повести за границей вызвали возмущение всей советской общественности”. Четыре года спустя *Литературная энциклопедия* отмечает эволюцию в нужную сторону: „Несомненно стремление Пильняка приблизиться к пролетариату, хотя и не на все еще он смотрит глазами пролетариата”.



Реабилитация сопровождается разрешением снова выезжать за границу. Из США писатель привозит очерки *О'Кей*. Следующей книгой был роман *Двойники*. Можно предположить, что Пильняк предложил рукопись московским издательствам — они ее отвергли. Тогда Борис Пильняк посылает рукопись в Варшаву — другу и переводчику Владиславу Броневскому. Знаменитый революционный поэт и коммунист Броневский был в это время верным защитником СССР, пользовавшимся полным доверием Москвы. Пильняк надеется таким образом обойти стену, воздвигнутую перед ним на родине. В 1935 г. роман выходит на польском языке. В письме другу и переводчику Борис Пильняк просит выслать текст *Двойников* в Копенгаген в адрес советского посольства для датской переводчицы, объясняя: датские чудаки могут переводить с польского, а не могут с русского.<sup>1</sup> Польский литературовед Северын Поляк, автор предисловия к польскому изданию романа, справедливо замечает, что ремарка о „датских чудаках” была сделана для московских цензоров.<sup>2</sup> Из письма явствует, что наученный горьким опытом *Красного дерева*, писатель не решался посылать „буржуазным издателям” русскую рукопись романа. Он предпочел воспользоваться посредничеством друга — польского коммуниста. Одновременно Борис Пильняк выражал абсолютное доверие к точности перевода Владислава Броневского.

Пильняк не мог еще знать как важна удача переводчика. Не мог знать, что дни его сочтены, что в 1937 г. „оборвется его литературная жизнь”, как выражается автор предисловия к *Избранным произведениям*,<sup>3</sup> что он будет „незаконно репрессирован”, как сообщает *Краткая литературная энциклопедия*.<sup>4</sup> Пильняк не предполагал, что *Двойники* станут его последним большим законченным романом, а польский перевод — единственным сохранившимся текстом.

В 1976 г. Борис Пильняк, реабилитированный ранее юридически, был реабилитирован „литературно”: в Москве вышли его избранные произведения — небольшая часть

творчества одного из самых известных писателей 20-х годов. Во вступительной статье, как и в других — редких — статьях о Пильняке, *Двойники* не упоминаются.

Возникла парадоксальная ситуация, знакомая по античной литературе, не встречающаяся в современной — есть только переводный текст, нет оригинала. Возможно стоило бы перевести *Двойников* на русский язык — это важное произведение значительного писателя. Особенности литературной техники Пильняка позволили найти иной выход. Еще в 1923 году Замятин обнаружил, что у Пильняка „сюжеты — пока еще простейшего, беспозвоночного типа, его повесть или роман, как дождевого червя, всегда можно разрезать на куски — и каждый кусок, без особого огорчения, поползет своей дорогой”.<sup>5</sup> Сюжет остается у Пильняка до конца его жизни — простейшего, беспозвоночного типа. Он нередко режет свои романы, повести, рассказы на куски, составляя новые вещи.

Никогда, однако, он не использовал этот метод так широко, как при работе над *Двойниками*. В свой итоговый роман писатель взял главное из написанного за десять лет: из *Чертополоха* (написан в феврале-марте 1921 г.), *Заволочья* (январь-март 1925), *Ивана Москвы* (февраль-март 1927), *Таджикистана, седьмой советской* (1931). Пильняк „разрезал на куски, как дождевого червя” десятилетнее творчество и все куски, используя образ Замятина, поползли, — но на этот раз в одну сторону, в роман *Двойники*.

С великолепным мастерством писатель объединил разнородный — по сюжетам, месту действия, времени действия — материал в роман о советском государстве и месте в нем художника. Составителю, открывшему „тайну” *Двойников*, осталось повторить путь, по которому прошел автор романа: найти и соединить „куски”, перевести вновь написанное. Примерно 90% текста — прямое заимствование из ранее опубликованных сочинений Пильняка. Примерно 10% — тексты вновь написанные.<sup>6</sup> Куски старых текстов превратились в новый, компактный текст, сумму творчества писате-

ля благодаря введению нового героя — братьев-близнецов, двойников, как их называет Пильняк. Близнецы позволили писателю пересмотреть старые темы, сюжеты, персонажей на новом этапе: в начале 30-х годов, когда „жернов революции, историческое колесо”, которое „в очень большой мере движется смертью и кровью”,<sup>7</sup> сделало очередной поворот. *Двойники* — быть может наиболее личное произведение Пильняка, который ищет место писателя, свое место в стране, ускоренными темпами ведомой в социализм.

Послереволюционная литература охотно использовала тему идеологического конфликта в семье, как символ катаклизма, потрясшего русское общество в 1917 г. Отец и сыновья у Бабеля, братья в *Барсуках* Леонова, *Сестры* Вересаева, *Братья* Фебина. Список легко продолжить. Включив, например, Пильняка, изобразившего в *Голом годе* разорванную семью князей Ордынских. Никто, однако, не использовал эту тему так последовательно, как автор *Двойников*. Герои романа — братья Лачиновы. Они так похожи, что никто не может их различить. Но один из них — Николай: коммунист, инженер, строитель, девственник; другой — Александр: беспартийный, актер, женолюб. Неразличимые внешне, они взаимоисключают друг друга внутренне. В одном теле как бы существуют два характера, две души, два мироощущения. Символическая функция братьев Лачиновых настоятельно подчеркивается писателем. Символичны даже их имена: в греческом корне имени Николай — слово „победа”.

Насколько введение братьев-близнеца меняет смысл ранее написанного текста можно видеть, например, на эпизоде убийства женщины, перенесенном в *Двойники* из *Заволочья*. В *Заволочье* — профессор Николай Кремнев, начальник полярной экспедиции, убивает единственную на северном острове женщину в тот момент, когда она находится в объятиях художника Бориса Лачинова. В *Двойниках* — начальник полярной экспедиции проф. Николай Лачинов убивает единственную на северном острове женщину, которую держит в объятиях его брат Александр Лачинов. В первом

случае – эпизод из войны полов, которая не прекращается на страницах книг Пильняка, начиная с *Голого года*. Во втором – та же война, но идущая в одном теле – братьев-близнецов: „И рядом тогда раздался выстрел, и Александр Лачинов ощутил, что в руках у него – только осколок головы. К Александру подходил брат Николай. Два брата – близнецы – внимательно посмотрели друг на друга. Александру – артисту – показалось, что он смотрит в зеркало, в свое актерское зеркало и видит себя”.

Три временных плана сосуществуют в *Двойниках*: прошлое, настоящее, будущее.

Прошлое уходит в глубокую древность. Роман начинается словами: „Александр Кириллович Лачинов, народный артист республики, разодранный надвое русской революцией, в бытность свою в Египте, вскоре после 1905 г., купил там мумию одной из жен фараона, имя которой выветрилось песками истории”. Мумия становится в романе символом артиста. В годы революции мумия ожила – стала пахнуть и светиться. Годы революции при мумии живет Александр Лачинов. Прошлое в романе – это также гражданская война, в которую случайно попадает Александр. Наконец, прошлое это – полярная экспедиция 1914-1917 гг., в которой артист оказывается случайно, пытаясь скрыться от самого себя.

Настоящее – Москва начала 30-х годов. В романе – две Москвы. Александр живет в непмановском, разлагающемся городе. Настоящее Александра – это прошлое. Для Николая Москва – „столица социализма, дела, мужества, побед, строительства, коммунистической партии”. Николай Лачинов – „ученый и революционер” живет в будущем. Николай знает прошлое: но он не присутствовал в нем, как Александр, он действовал. Начальник полярной экспедиции, активный участник революции и гражданской войны Николай Лачинов – после победы – командирован в будущее: он строит на Урале завод, добывающий радий. Ему поручено овладеть новой таинственной и могучей силой, философским камнем, о котором тщетно мечтали средневековые черно-

книжники. Николай, коммунист и ученый, держит в руках философский камень. И его — как Александра — сопро-вождает свет. Но это не мертвый свет мумии, это животвор-ный свет радия — фосфорисцирование лучей, для которых нет преграды, которые все преобразуют.

В будущем живет и таинственная незнакомка, пишущая письма Александру Лачинову. Заимствовав форму — письма влюбленной незнакомки — у Стефана Цвейга, Пильняк вкла-дывает в нее новое содержание: Александр Лачинов получает послания не о любви, но о строительстве социализма в Таджикистане, седьмой советской республике.

Карл Радек рассказал в предисловии к немецкому изда-нию романа *Волга впадает в Каспийское море*, что прочитав *Красное дерево*, позвонил автору и сообщил: критика по-вести совершенно справедлива, ибо „страна революции изображена без революции”. Пильняк исправил ошибку: на-писал новый роман, включив в него подчищенное *Красное дерево*, уравновешенное строительством гигантской плоти-ны. В *Двойниках* прошлому и настоящему противопоставле-на двойная порция будущего: уральский радиевый завод и строительство социализма в отсталой азиатской республике.

Борис Пильняк остается верен своей концепции рево-люции: „первый марш ее восхождения” — героика „скиф-скости, холода и голода”, а затем, следующие марши: поход „к машинной правде, которую надо воплотить в мир”.<sup>8</sup> В *Двойники* включен эпизод из *Ивана Москвы* — явление само-лета в Зауралье: „Вот тут, у этого поля, где родились и умер-ли деды собравшихся (колхозников — М. Г.), где в памяти соликамские строгановские разбои, где все родное, где па-сутся овцы, а через речку плавает дощанник как в четыр-надцатом веке, здесь на этом поле лежал самолет, челове-ческая воля, несущая человека в небо”. В *Двойниках* демон-стрируется, как „машинная правда”, пришедшая на волне революционного взрыва, овладевает всей страной, в том числе далекой республикой, лежащей на границе с Афгани-станом, откуда открывается путь в глубины Азии.

Дихотомичность мироощущения, свойственная Пильняку, полностью сохраняется в романе: скифство и Запад, инстинкты и разум, воля видеть и воля делать, память и забвение. Но все эти конфликты обострены до предела, ибо происходят в душе близнецов — в одном теле. Конфликты обострены до предела, ибо столкновения происходят в новое время, когда от имени революции приказы отдает „негорбящийся человек”, названный в *Повести непогашенной луны* просто: „номер первый”.

Конфликт между близнецами проявляется впервые в Арктике — на необитаемом острове, среди полярных льдов. Инстинкт (половой инстинкт Александра) сталкивается с силой воли и целеустремленностью — разумом Николая. Дороги братьев расходятся, когда Николай Лачинов, вернувшись в 1917 г. из Арктики, начинает „делать коммунистическую революцию”.

Конфликт между братьями становится ожесточенной схваткой между „волей видеть” и „волей хотеть”. Фамилия Лачинов впервые появляется в *Заволочье*. Ее носит художник, о котором сказано: „у Лачинова была воля — видеть”. Это качество получает и Александр Лачинов. Он актер, а не художник, как его однофамилец, но также воспринимает мир прежде всего глазами. Выбрав фамилию художника<sup>9</sup> для героев *Двойников*, писатель не оставляет сомнений, кто из двойников ему ближе. Но нет сомнений, кто из них победитель — о Николае Лачинове сказано ясно и точно: „Он твердо знал прекрасную человеческую волю познавать и воливать”.

Столкнув две „воли”, писатель вернулся к конфликту, представленному за десять лет до *Двойников* в повести *Матчеха* (1922): „Я много думал о воле видеть и ставил ее в порядке воли хотеть: оказывается, есть иная воля — не видеть, когда воля хотеть противопоставляется воле видеть. Россия живет волей хотеть и волей не видеть; эту ложь я считаю глубоко положительным явлением, единственным в мире”. Мысль эту записывает в дневник гость советской

России американец Смит. Американец называет „явлением положительным” ложь в России: „Ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все...”<sup>10</sup> Ложь позволяет отвергнуть реальность и, закрыв глаза, действовать.

Зарегистрировав в 1922 г. факт преодоления воли видеть волей хотеть, писатель не перестает в последующих произведениях свидетельствовать о судьбе тех, кто не хотел закрывать глаз. И тех, кто помнил. Иван Александрович Непомнящий (*Машины и волки*, 1924) „со всем был согласен и всему подчинялся и *ничего* не делал, кроме статистических своих таблиц...”<sup>11</sup> Непомнящий был статистиком, следовательно — видел, регистрировал, помнил. Поэтому-то „многие хотели его придушить даже своими руками”. В мире всеобщей лжи — он был вреден и опасен. Усыпленный хлороформом, кричит на операционном столе командарм Гаврилов: „... скорости все открыты, земли уже не видно. Я все помню” (*Повесть непогащенной луны*, 1926).<sup>12</sup> Быть может именно поэтому — потому, что он все помнит — умрет командарм на операционном столе. „Все помнил” и старик Яков Карпович Скудрин. Он твердо уверен: „Я пережил Николая Павловича, Александра Николаевича, Александра Александровича, Николая Александровича, Владимира Ильича, — переживу и Алексея Ивановича”.<sup>13</sup> Перерабатывая *Красное дерево* для включения в роман-раскаание *Волга впадает в Каспийское море*, Борис Пильняк убивает „всепомнящего” Якова Скудрина, ибо явился — Иосиф Виссарионович.

В числе немногих новых эпизодов, написанных для *Двойников*, один посвящен памяти. Александр Лачинов не ведет дневника, но регистрирует (для памяти!) в блокноте события, связанные с фактом „наличия близнеца и раздвоением личности”. Одна из записей касается посещения подмосковного музея — дома „культурного купца-фабриканта”, в котором бывали крупнейшие писатели, художники, артисты России. Посетителей знакомит с музеем женщина, рассказы-

вающая об экспонатах равнодушным, скучным голосом. Внезапно, когда женщина равнодушно обратила внимание на портрет дочери бывших хозяев дома – портрет девочки работы Серова, Лачинов вскрикнул от удивления: „Но ведь это – ваш портрет?!” Опустив глаза, женщина тихо сказала: „Это портрет дочери... да, это мой портрет”. Александр Лачинов понимает поразительный смысл события: „Женщина... не только говорила о себе в третьем лице, всю свою молодость она положила на общественную полку. Это было расщепление, раздвоение личности, человек говорил сам о себе равнодушными словами, как о музейном экспонате...”

*Двойники* – роман о близнецах – итог размышлений писателя о раздвоенности русской истории и русской интеллигенции, об опасности, которой эта раздвоенность стала чревата в начале 30-х годов. Об опасности – для государства.

Русское государство „заложило в страхе от государственности”. Русская революция была „бунтом народным”, возвращением в семнадцатый век. Так виделось Пильняку в 1920 г. Он мечтал о государстве мужицком: „... Чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу... Государство без государства, но растет, как гриб”.<sup>14</sup> В первом романе, где рассказано об этой мечте, Пильняк регистрирует появление „кожаных курток”, коммунистов, бросающих вызов народному, „большевистскому”, бунту: „Так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и – баста!”<sup>15</sup> Люди, обладавшие „волей хотеть”, являются, чтобы обуздать стихию. В 1924 г. писатель приходит к выводу о возможности преодоления конфликта между народной революцией (бунтом) и аппаратом власти: „В вихревую эту метель, в корявую, кровяную, полыхающую заревами удалую, разбойничью, безгосударственную, вплелась черная чья-то рука, жесткая, стальная, как машина, государственная – пять судорожно сжатых пальцев, черных в копоти...”

Это рука пролетария – верит Пильняк. Пролетарские стальные пальцы „взяли под микитки и Россию, и русскую метелицу, и мужика...”<sup>16</sup> Писатель мечтает о надреволюцион-



ной диктатуре, которая сможет одолеть „волков” с помощью „машины”, но не позволит „маховику” съесть Марью — Россию. Борис Пильняк выразил в первой половине 20-х годов чувства, которые становятся в то время господствующими. Проницательнейший свидетель эпохи Осип Мандельштам заметил: „Люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны”.<sup>17</sup>

В 1933 г., когда пишутся *Двойники*, внешний облик диктатуры меняется, но суть ее остается прежней. „Стальные пальцы”, которые раньше именовались „пролетарскими”, стали называться „стальными пальцами ГПУ”. От „метафизики пролетариата”<sup>18</sup> Борис Пильняк переходит к метафизике ОГПУ. Никто из советских писателей, за исключением Максима Горького, не сформулировал так четко приговор себе и народу. В романе ГПУ арестует и отправляет в ссылку крупнейшего в стране специалиста-нефтяника инженера Владимирова, ибо он мог стать врагом советской власти. Следовательно: „Владимиров, человек субъективно честный, объективно оказался вредителем”. Беда Владимирова — это было бедой всех граждан — заключалась в том, — объясняет Пильняк, — что инстинкты влекли его в сторону капитализма.

В начале 20-х годов русский язык обогащается словом — двурушник. Словарь Ожогова отмечает, что слово это имеет презрительное значение. От человека требуется, чтобы он имел „одну руку”, чтобы он думал — как нужно, чтобы он делал — то, что велят. Чтобы он закрыл глаза и перестал видеть реальность — трупный свет мумии, чтобы он увидел — яркий свет будущего.

Выхода не было: оставалось убить близнеца. Александр Лачинов — русский интеллигент и актер, должен был погибнуть, чтобы мог спокойно строить счастливое будущее коммунист и ученый Николай Лачинов. Александр мешал Николаю всегда: инстинкты угрожали разуму. В предсмертном письме незнакомка предупреждает Александра: „Прошу

помнить об инстинктах”. Николай победил инстинкты, победил чувства. Он утверждает: „У меня остался только мозг”. Только брат-близнец напоминает ему о чувствах и инстинктах. Александр всегда мешал Николаю. В конце 20-х годов он начинает мешать государству. Шахтинский процесс 1928 года объявляет: „буржуазная интеллигенция” виновна в – предательстве. Д. Заславский вводит в словарь политических обвинений, предъявляемых интеллигенции, понятие „валленродизм”. Как герой поэмы Мицкевича, одевший маску немца, чтобы спасти родину, так „буржуазная интеллигенция” надела личину советской лояльности”, чтобы предать пролетариат.<sup>19</sup> Фельетонист называет свой донос: „Иуда, который не удавился”. Советская литература отвечает на обвинения полным признанием и раскаянием: да, интеллигенция виновна, да, она должна переродиться или удавиться.

Прозаики и поэты, драматурги и критики изображают этот горький выбор, как необходимую и радостную жертву. Маяковский гордо заявляет, что смирял себя, „становясь на горло собственной песне”. Сельвинский молит власть: „Обдумай нас, включи наши нервы и наладь в ход, как любой завод...” В стихотворении Тихонова „Избиение трутней” заклеванный интеллигент-трутень просит: „Добей!”

Пильняк, придя к выводу относительно объективной вредности интеллигенции, ставит диагноз, не оставляющий надежды: вылетался. Летчик Обопынь, участник гражданской войны, узнает, что заболел профессиональной болезнью: вылетался, „потерял сердце”. Он объясняет: „Пилоты со временем теряют сердце, они неверно ведут самолет – нервы гадятся. Если болезни не заметить, они всегда гребятся, разбиваются”. Александр Лачинов говорит: „Я тоже вылетался”. Писатель показывает это в одной из наиболее драматических сцен романа, в которой раздваивается Пушкин. Ночью Александр идет по Никитскому бульвару. Забыв о памятнике Тимирязеву, поставленном в 1922 г., он принимает его за Пушкина и поворачивает обратно. У Страстного бульвара он

видит снова Пушкина, подходит к памятнику, читает стихи, поворачивает обратно, к Никитскому: „Бульвар был темен и глух, — впереди стоял Пушкин. Пушкин раздвоился. Пушкин замыкал пути Лачинова... Вжав голову в плечи, на цыпочках, Лачинов подкрался к памятнику. Лицо Пушкина изменилось. Стоял другой Пушкин. Стихов не было. Лачинов отшатнулся от Пушкина со старческим лицом”.

Раздваивается Пушкин, замыкает дорогу Александру Лачинову, требует сделать выбор. Выбор делает писатель. „Вылетавшийся” герой гражданской войны Обопынь, „вылетавшийся” артист Александр Лачинов „гробятся”, разбиваясь в авиационной катастрофе. Писатель согласен с необходимостью их смерти. Николай Лачинов с неудовольствием замечает: „Оказывается я должен нести ответственность за брата”. Коммунист-Каин не хочет отвечать за интеллигента Авеля. Пильняк не отрицает того, что Александр, как Обопынь, в свое время принесли пользу, необходимость их устранения он объясняет физическим законом полезного действия энергии. *Иван Москва* открывается законом Фредерика Содди: „... Одно и то же количество энергии может быть использовано только один раз. Для получения полезной работы из какого-либо источника энергии, покоя или потенциальной, необходимо превратить ее в новые формы, в энергию кинетическую, энергию движения”. Перенеся этот текст в *Двойники*, писатель добавил: „Николай Лачинов ассоциировал эти слова с понятиями и произведениями Маркса и Ленина”.

„Вылетавшиеся” отдали один раз свою энергию — стали трупами, принесли пользу и устранились. Когда старик Скудрин, который все помнил, убивает себя, над Москвой поднимается рассвет. Когда самолет, который пилотирует Обопынь, входит в штопор, пассажир Александр Лачинов видит перед смертью яркий солнечный свет.

*Двойники* завершаются размышлениями Николая Лачинова о пользе, которую принес его брат Александр: погибнув, он отдал энергию своего распада будущему. Николай

продолжает изучение распада энергии радия: „чтобы внести ясность”. Роман заканчивается словом: ясность.

Все ясно. Раздвоенность кончилась. Николай Лачинов очистился, оставшись один. „Ему не было жаль брата”. Но странное и нездоровое чувство полусмерти мучает его. Подведена черта: убит художник. Оставшийся в живых близнец чувствует облегчение и неясную внутреннюю тревогу. Иннокентий Анненский, которого однажды декламирует в романе Александр, закончил стихотворение *Двойник* вопросом: „Когда наконец нас разлучат, каким же я буду один?”

Борис Пильняк не знал каким будет близнец, разлученный с братом. Но он доказывал — взволнованно и талантливо — необходимость хирургической операции, пользу умерщвления ставшего вредным носителя инстинкта. Он приветствовал победу разума. Разум победил — „потому, что — как заканчивает Е. Замятин *Мы* — разум должен победить”.

Автор *Двойников* недолго тешился этой победой: он был „незаконно репрессирован” в 1937 г. В 1976 г. было официально объявлено, что Борис Пильняк умер 9 сентября 1941 г. в лагере. Через полвека после написания к русскому читателю приходит роман русского писателя, в котором рассказывается о том, как он — убивая себя — становится советским писателем.

*Михаил Геллер*

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Seweryn Pollak, *Srebrny Wiek i później*. Warszawa 1971, str. 320.
2. *Там же*, с. 321.
3. Б. Пильняк, *Избранные произведения*. Вступительная статья, комментарий, составление и подготовка текста В. Новикова. Москва 1976, с. 5.
4. Т. 5, Москва 1968.
5. Е. Замятин, *Лица*. Нью-Йорк 1955, с. 201.
6. Переведенные с польского языка фрагменты набраны в этой публикации особым шрифтом.
7. Б. Пильняк, *Повесть непогашенной луны*. Лондон 1971, с. 22.
8. Б. Пильняк, *Машины и волки*. Ленинград 1925, с. 62.
9. В *Заволочье* начальник экспедиции назван: Кремнев.
10. Б. Пильняк, *Собрание сочинений*, т. IV. М.—Л. 1929, с. 218.
11. *Машины и волки*, с. 149.
12. *Повесть непогашенной луны*, с. 52.
13. *Красное дерево*. В: *Опальные повести*. Нью-Йорк 1955, с. 175.
14. Б. Пильняк, *Голый год*. В: *Избранные произведения*, с. 84.
15. Б. Пильняк, *Голый год*, с. 54.
16. Б. Пильняк, *Машины и волки*, с. 96.
17. Надежда Мандельштам, *Вторая книга*. Париж 1972, с. 87.
18. Б. Пильняк, *Машины и волки*, с. 87.
19. *Звезда*, 1931, №2, с. 178.

Александр Кириллович Лачинов, народный артист республики, разодранный надвое русской революцией, в бытность свою в Египте, вскоре после 1905 г., купил там мумию одной из жен фараона, имя которой выветрилось песками истории. Прах женщины, три тысячи лет тому назад царствовавшей, — быть может, прекрасной, — представлял собою ныне женский костяк, обтянутый совершенно высохшей кожей темно-коричневого цвета. Прах, забальзамированный мастиками, весил много больше, чем живой человек. Тело было обтянуто испепеленными тканями. Волосы женщины были залакированы и зачесаны на прямой пробор, с косами на ушах, — но волосы были не черны, как предполагалось бы, но желты, как рожь, как приречный песок, волосы, выветренные тысячелетиями. Глазницы мумии были мертво закрыты. На губах мумии умерла и зажила в смерти непонятная, тревожная и — бывает так — обессиливающая улыбка, пронесенная мумией через тысячелетия.

В сущности, неправильно сказать — тело мумии, ибо тела не было, тела, превратившегося в коричневый ремень, тяжелый, как известняки. Эта женщина была роста выше среднерослого славянского мужчины, широкоплеча, бестазы. У нее были прекрасные губы, руки и ступни ног, и прекрасны были ногти на руках и ногах.

Через Александрию, Яффу, Афины, Византию — путями древностей — артист Александр Кириллович Лачинов привез мумию в Скифию, как он выражался, и провез ее в Москву, в вотско-славянскую столицу, опять же по определению Лачинова. Скифские и вотско-славянские определения казались артисту существенными. Исходя из цвета волос мумии, он развивал теорию скифского происхождения жены

фараона и поэтому-то вез мумию из Египта на ее древнюю родину. Скифские, вотские, славянские понятия вообще были кругом понятий артиста Лачинова, он их использовал не только по отношению к мумии, но и ко всему, с чем имел дело. У артиста было известное имя, он бывал на заседаниях театрального общества и литературно-художественного кружка на Дмитровке, у него были: романы, квартира, бюджет, жена, теща, прислуга. Мумия стала в кабинете артиста за письменным столом, между диваном и книжным шкафом, напротив зеркала, нужного артисту для работы. Лачинов чинил свою жизнь в хорошем здоровьи.

Пришла великая русская революция, величествовал первый ее марш восхождения, — в понятиях артиста — героика скифскости, холода и голода.

Артист, выехав однажды на Кавказ на лечение, попал в водоворот гражданской войны. Вылечившись от тифа, он прочно осел в Москве и двинулся в революционные вечности — железной печуркой, картошкой и тем, что он с домоладцами — кабинет, столовую, спальню, детскую — все сдвинул на кухню, в темноту и тепло. Мумия осталась в глетчерном кабинете. И странными судьбами тогда — в геологии и скифскости понятий артиста — мумия: ожила! — Кухарка, ровесница тещи, подлинная скифка, которая вообще с первых дней возникновения мумии, убедившись окончательно, что мумия не есть мощи, твердую враждебность имела к мертвецу, — так вот кухарка — первая — заявила, что мумия стала: пахнуть. Затем кухарка сказала, — что мумия: светится. Потом кухарка сказала, что мумия: — гудит.

Артист возмущался и доказывал.

Но за кухаркой теща, а потом лирическая жена — утвердили, что поистине — пахнет мумия: и поистине чуть заметный, сладковатый, бередливый появился в кабинете запах разложения. За кухаркой теща и жена утвердили, что мумия — светится: и поистине ночами во мраке спущенных штор чуть заметным, прозрачным, фосфорическим светом начинало светиться лицо мумии, — и тогда, в тишине революционных

ночей и замерзших домов, было слышно, было едва-слышно, как гудит мумия — так же, как гудят морские раковины. ·Артист — варварски! — раздел мумию, чтобы обследовать: вновь, спустя три тысячи лет, предстали пред человеческие глаза женские тайны фараонши, — и в тот же миг рассыпались пеплом и прахом ткани одежд мумии. Артист ничего не нашел, установив гудение мумии в том, что от сырости выпала мастика из ушей мумии и гудит пустая черепная коробка. Но женщины — в последовательности кухарки, тещи и жены — потребовали, ультиматировали, что — или они, или мумия. Женщины с мумией жить не желали, категорически.

Артист продал обнаженную мумию коллеге, пожелав за нее столько и столько пудов муки и картофеля; коллега взял мумию и авансом уплатил двадцать семь фунтов проса. И через месяц коллега пришел к артисту объясняться; коллега сказал, что культурная ценность мумии ему ясна, но мумия пахнет разложением, в семье некультурность, и он, коллега, просит артиста взять обратно мумию, вернув, конечно, просо. Мумия вернулась к артисту.

Артист не отдал мумии музею.

Революция прошла ледниковый московский марш, как определял Лачинов.

Обнаженная трехтысячелетняя женщина, бывшая царица, ходила по рукам в Москве, из дома в дом, нигде не оставаясь больше двух недель, обрастая легендами и событиями, более запутанными, чем ее три тысячи лет, и возвращаясь домой только в дни, когда теща и жена выезжали на дачу или на курорт. Через каждые две недели в комнате, где жила мумия, начинало пахнуть мертвецом, и ночами мумия светилась бередливым фосфорическим светом. Люди знали, что мумия тлеет и светится. Мумия шептала непонятное. Смелчаки брали ее, чтобы жить около тлеющих тысячелетий; тлен сильнее смелости: через две недели, по стандарту, смелчаки обессиливали бороться с тленом, и мумия возвращалась к артисту. В иных местах в жизнь мумии вмешивались соседи



иль домкомы, объясняя, что: — или мумии, как мертвецы, суть предрассудок, в действительности являющийся просто мертвецом, место которому на Ваганькове, или в антирелигиозном музее, а ежели предрассудок мумии необходим, то требуется от милиции удостоверение на право проживания и занятия площади, ибо — хоть мумия и мощи, но все же человек; не раз тень мумии возникала в милиционном отделе и погибала там в отделе записей актов гражданского состояния.

Все годы революции в Москве жили: люди, класс-победитель и класс-труп, страдания, радости, победы, отступления, любви и — мумия, трехтысячелетняя, обнаженная, коричневая, как иссохший ремень, бездомная, безордерная, — та, которая тысячелетья пронесла непонятную, прекрасную и лягушечью одновременно обессиливающую улыбку. При мумии жил Александр Кириллович Лачинов, который в годы гражданской войны только раз уехал на Кавказ, чтобы там переболеть тифом и спрятаться от революции в Москве.

У Александра Кирилловича был брат Николай Кириллович — ученый и революционер. Александр и Николай были не только братьями, они были близнецами, двойниками, родившимися в один и тот же час. Они были так похожи, что в детстве их путала даже мать. Их детство прошло так, что мысль и фразу одного мог закончить другой. Они были похожи жестами. Неразличимы были их голоса. Совершенно естественно, что такое сходство создавало ситуации, из-за которых жизнь братьев отличалась от жизни других людей. Николая принимали за Александра. Александра принимали за Николая. Незнакомые не только с ними здоровались, они кидались в объятия. И один, и другой получали непонятные письма. В детстве и юности, в гимназии и университете, братья вводили в заблуждение своим сходством знакомых, коллег, гимназисток, студенток, гимназистов и студентов, учителей и профессоров. В жизни, когда дороги братьев разошлись, двойники не раз трагически взаимодополнялись. И совершенно естественно, что жизнь под знаком обладания

двойника, то есть раздвоенная жизнь, давала, с одной стороны, необычайные переживания, а с другой, вынуждала братьев интересоваться не только собственной судьбой. Не случайно артист Лачинов, не имея привычки вести дневник, записывал в свой блокнот, рядом с датами встреч и репертуаром, события, связанные с обладанием двойника и раздвоением личности, делал записи, подобные нижеследующей:

... Вместе с проф. О., работником Высшего ученого совета, ездили в подмосковный музей Т... От станции к имению ехали санями, шел снег. Сосны, ели, деревни, российская всегдашность. Мы остановились в доме старого земца. Нас приняла заведующая музеем, утомленная, косящая, одетая в черное женщина, пригласила пить чай. После чая пошли смотреть музей. В этом доме читали свои рукописи Гоголь, Аксаков, Хомяков. В двадцатом веке дом стал собственностью культурного купца-фабриканта, в доме бывали, жили, работали, отдыхали — Левитан, Полленов, Врубель, Серов, Коровин. Здесь Врубель нарисовал „Демона”. Серов сделал портреты всех членов семьи хозяина имения. Шаляпин здесь пел и пил. Заведующая водила нас по комнатам, говоря так, как говорила сотням экскурсантов, прошедшим через музей:

— Музей разделен на два отдела — эпоха помещичьего быта, славянофилы — рождение русской буржуазной культуры...

Последние хозяева, фабриканты, использовали эту комнату в качестве салона, здесь Врубель работал над...

Заведующая говорила равнодушным и скучным голосом о вещах, которые для нее были давно покрыты слоем пыли и безразличны, и безразлично показывала картины, фарфор, майолику, мебель, комнаты. Мы ходили за ней, скучая как она. Мой спутник должен был осмотреть музей по долгу службы, чтобы решить закрывать его или нет. Заведующая знала об этом и было ей это безразлично.

Мы вошли в предпоследнюю комнату.

Здесь была детская последних хозяев: здесь висят

портреты детей фабриканта – Серов...

На стене висел портрет девочки под цветущей вишней, девочка косила одним глазом; кого-то она мне напоминала, кого я несомненно знал и недавно видел. Это начало меня беспокоить, я старался вспомнить. Я спросил заведующую:

– Чей это портрет?

– Это портрет дочери бывших хозяев, кисти Серова, – ответила заведующая.

– Но ведь это – ваш портрет?! – крикнул я от удивления. Заведующая опустила глаза и тихо сказала:

– Это портрет дочери... да, это мой портрет.

Измученную заведующую в черном платье, стареющую женщину, и девочку в белом, подростка под цветущей вишней – разделяла огромная эпоха. Женщина в черном не только говорила о себе в третьем лице, всю свою молодость она положила на общественную полку. Перенесла свою молодость в музей. Это было расщепление, раздвоение личности, человек говорил сам о себе равнодушными словами, как о музейном экспонате – сотням посетителей, прошедшим через музей...

... Инженер П. живет в поселке Сокол.

Из окон его дома виден сад, принадлежащий банкиру Ш. Весной, когда пригревало солнце, Ш. выходил из дому через террасу в сад, шел протоптанными им дорожками к кустам малины, черной смородины, жасмина и сирени, клумбам, грядкам. Дорожки и геометрия кустов, грядок и клумб определяли его движения в саду. Он работал в саду для отдыха.

Оказалось, был активным контрреволюционером. Его расстреляли. Дом конфисковали и отдали сотруднику ГПУ.

Весной, когда пригревало солнце, сотрудник ГПУ выходил из дому через террасу в сад, шел протоптанными дорожками к кустам малины, черной смородины, жасмина и сирени, клумбам, грядкам. Дорожки и геометрия кустов, грядок и клумб определяли его движения в саду

точно так же движения расстрелянного Ш. Он работал в саду для отдыха.

Инженер П., рассказавший мне эту историю, засохший, старый.

У актера Лачинова была жена, не сыгравшая никогда никакой роли в его жизни. Лачинов, вспоминая третьим лицам о жене, всегда рассказывал им то же самое:

— Был у нас дог, красивая, большая, дрессированная сука, родившаяся в Дании и оттуда привезенная в Москву. Собственно говоря, никто не любил эту суку. Она жила в доме как украшение. И рассказ этот, собственно говоря, в равной степени о жене и доге. Жена не любила суки, вообще не любила зверей. Сука принесла щенят. Щенята раздражали жену. Она просила как можно быстрее избавиться от них. Топить их в пруду не было смысла, они были породистые. Продавать щенят — не в моем стиле. Я их раздавал и торопил друзей, чтобы скорее забирали. Щенята были еще слепые. Одна из моих приятельниц слишком поторопилась, взяла щенка и дня через два, либо на следующий, не помню, принесла обратно — щенок у нее плохо ел и не переставал скулить. Мы присоединили щенка к кучке его братьев и сестер, щенок стал торопливо искать соски. И тогда сука зарычала на собственного сына и начала с отвращением отстраняться от него. Щенок вместе с другими братьями искал груди. Сука оскалила свои огромные клыки, глаза у нее стали дикими. Мы прикрикнули на суку. Она подчинилась. Глаза суки были глазами рабыни. Через четверть часа в доме раздался писк — сука мордой откинула щенка из одного угла кухни в другой. Сука одичала. Жена, кухарка, горничная не выходили из кухни, они уговаривали и ласкали суку. При людях сука покорялась. Я пришел к выводу, что щенок принес чужие запахи. Выгнав суку на улицу, я перемешал щенков, натер одного другим, разнес их в разные комнаты. Сука кинулась искать щенков, нашла всех, в зубах перенесла на матрасик. Не тронула только отщепенца, хотя подходила к нему несколько раз. Я снова выгнал суку на улицу и пере-

нес матрасик из кухни в переднюю. Сука стала перебираться обратно в кухню. Я запретил ей. Подчинилась. Женщины дежурили при суке. Все пришло в порядок и мы успокоились. До вечера. Вечером, в одиннадцать, вновь раздалось дикое рычание суки, а за ним отчаянный писк щенка. У щенка — клыками матери — были искусаны мордочка, ноги, грудная клетка, вытек глаз, из пасти, ушей текла кровь, шкура на спине была порвана, были видны ребра. Я считаю, что все это о суке — интересно. Но теперь я хочу говорить о жене. Жена не любила зверей и никогда не имела детей. Она настаивала, чтобы щенят как можно быстрее взяли из дому. Мать разорвала своего щенка. Щенок умер только на другой день. Моя жена просидела над щенком всю ночь. Нашла картонную коробку из-под шляпы, обернула щенка ватой, все его раны намазала иодом, кормила его молоком с ложечки. Была очень активна, чувствуя одновременно настоящее огорчение. Звонила ветеринару, стараясь спасти щенка. Ветеринар сказал, что щенок умрет. Боролась со смертью, стараясь отдалить ее. Не плакала. Не спала всю ночь. Ходила на цыпочках. Когда щенок умер, истерически расплакалась. И отвезла щенка за город, чтобы там похоронить. Могила щенка не была забыта. Тем летом жена поехала на Кавказ и, конечно, писала письма. За время нашего брака я получил их множество. Тем летом я получил от нее письмо, единственное из всех, которое знаю на память, ибо вообще она не умела писать писем. Она писала: „... когда-то я купила несколько коконов шелковичного червя и забыла о них. А они высиделись у меня в чемодане. Сначала высиделся самец и сутки просидел в папиросной коробке, где я его поселила. Потом высиделись две чудесные самочки и самец сразу женился на них. Еще сутки он любил своих молоденьких жен, любил страстно и неутомимо, трепетал крылышками и был, наверное, очень счастлив. Но срок его жизни — человеческие сутки — прошел и уже два дня, сегодня третий, он лежит бессильный и умирающий, он трепещет крылышками не от страсти, но оттого, что умирает. Он любил, его любили, он

умирает, что делать! — вспоминаю Гейне,<sup>1</sup> плакала, как тогда над щенком. А две его самочки сидят рядом и лениво, сосредоточенно, несут яички. Из яичек в папиросной коробке в надлежащее время выйдут гусеницы и сразу сдохнут, потому что рядом не будет тутовых листьев...”

Нравы, образ жизни актеров, как и всех людей свободных профессий, непохожи на привычные жизненные нормы. Их имена известны гораздо большему числу людей, чем те, кого они сами знают. Встречи, знакомства, дружбы случаются им в необыкновенных обстоятельствах. Каждый актер с именем может рассказать историю о том, как кто-то выдавал себя за него. У Лачинова был случай, когда, вернувшись осенью в Москву, он узнал в театре и дома, что его разыскивает какая-то женщина, от которой он прячется, которая забеременела от него. Дома сказала ему об этом жена. Жена сказала, что женщина позвонит по телефону в одиннадцать утра. В одиннадцать приехала смущенная и несчастная женщина, чтобы собственными глазами увидеть настоящего Лачинова. С ней случился приступ истерики. Жена утешала ее. Кто-то, выдавая себя за Лачинова, вступил с ней в связь, возил в Сокольники, дарил фотографии с автографом и — исчез. Однажды Лачинов ехал в четырехместном купе из Ленинграда в Москву. Он лежал на верхней полке. Внизу пассажиры флиртовали, говорили о театральном искусстве. Молодой человек просил соседку угадать его профессию и имя, объявил, что он — Лачинов. Настоящий Лачинов не спал всю ночь, злясь и придумывая, как сообщить сидящим внизу, что Лачинов-самозванец — самозванец, а настоящий Лачинов лежит на верхней полке. И ничего не придумал, ибо Лачинов-самозванец явно нравился соседке и в лучшем случае было бы два самозванца, даже если бы настоящий Лачинов показал документы, а предъявлять документы было неудобно. Настоящий Лачинов не спал всю ночь, удовлетворившись тем, что не позволил им вволю нацеловаться. Однажды Лачинов целую зиму получал переменные по настроению письма, в которых, с лирическими подробностями, описывалось

любовное путешествие Лачинова из Новороссийска в Батум, хотя в действительности Лачинов там никогда не был.

После революции, когда Украина и Средняя Азия, вошли в СССР, Лачинов начал получать письма от незнакомки. Сначала письма приходили с Украины, потом из Таджикистана, с пограничных застав, из глухих деревень и местечек. Написанные женщиной, эти письма не были ни лирическими, ни тем более эротическими. Лачинов получал их десять лет. По этим письмам нельзя было узнать ничего определенного о судьбе их автора. Изредка в письмах появлялось слово „муж”. Через четыре года после первого письма появилось имя сына — Александр, и можно было догадаться, что сыну было дано имя Александр из-за Лачинова. Письма совсем не напоминали обычных женских писем. Это были деловые отчеты, почти готовые репортажи и статьи, посвященные преимущественно тем особым явлениям, свидетелем которых была корреспондентка. Иногда приходило по два письма в день. Иногда письма исчезали на месяцы, на год, на полтора. Если были заказными, в адресе отправителя значилось имя персонажа, в роли которого выступал Лачинов. Письма свидетельствовали, что их автор не хочет ни встречи с Лачиновым, ни ответа. Однажды, примерно в двадцать шестом году, когда письма приходили очень часто и все со штемпелем Тирасполя, Лачинов, встретив украинского поэта Стеценко, жившего эту зиму в Тирасполе, попросил его опубликовать в тираспольской газете письмо в редакцию. В этом письме Лачинов просил свою корреспондентку сообщить имя и адрес, чтобы он мог ей писать. Имя осталось неизвестным. В письмах говорилось о вещах, которых Лачинов не знал. Иногда письма ограничивались несколькими строчками, иногда занимали до ста страничек, исписанных мелким почерком.

Мой друг,

я думала сегодня о следующем. Открываешь „Войну и мир” Толстого, часть первую. Первый абзац — суждения феодалов о международной политике. Но прошу читать

дальше. Прошу взять большой лист бумаги, разграфить его, положить на время чтения под правый локоть и отмечать карандашом все инстинкты и желания, определяющие поведение романских героев Толстого. Когда будут повторяться, прошу обозначать только черточкой, чтобы можно было подытожить. В пятом абзаце, мой друг, ты впишешь — равнодушие, ханжество. Это повторится в седьмом абзаце. Первые десять страниц — работа будет тяжелой, но не без пользы. Вскоре разделишь желания на общественные и биологические. Мироззрение феодала будет вылезать с каждой страницы. Инстинкты окажутся очень несложными. На двадцатой странице станет уже легко, будешь только ставить черточки в графы. Окончив чтение „Войны и мира”, будешь, мой друг, удивлен каким в общем несложным арсеналом инстинктов и желаний оперировал Толстой. Они окажутся прежде всего биологическими. Окажутся безусловно феодальными. Но главное не это — откроешь не только те инстинкты и желания, которыми жили герои „Войны и мира”, но и те, которыми жил Толстой, которые определяли Толстого.

Мой друг, прочитай таким образом повести и романы любого писателя и убедишься, с кем имеешь дело. Прочитай таким образом собственные романы, героем которых ты был в жизни и на сцене, и узнаешь кто ты, гораздо лучше, чем сказал бы тебе способнейший театровед. Если ты сопоставишь романы Толстого и писателей его эпохи и романы современных писателей, то убедишься, как эпохи перестраивают инстинкты и желания. Инстинкты наших современников в их романах прежде всего, конечно, общественные, но если лучше вчитаться, то на страницах их романов, несмотря на архиреволюционные и как нельзя более ортодоксальные темы, появятся феодалы, хамелеоны, труссы, собственники, — отнюдь не социалисты. Этими днями обрезаю дикий виноград вокруг нашей террасы. Я решила это сделать, ибо он был очень засорен собственными мертвыми побегими. Я начала воевать с труппами. Оказывается, природа заботится о труппах, так же как о живых. Труппы поддержива-



ли живых, связывали их, живые жили, цепляясь за них. Распутать, отделить живых от трупов было очень трудно. Когда, несмотря ни на что, я распутала и выбросила трупы, оказалось, что живым побегам не за что держаться. Я попрошу прочитать собственные роли с карандашом в руке, выписать инстинкты и желания, сделать статистическую таблицу их числа, оценить их мораль — и ты убедишься, мой друг, кто ты!

Я писала и буду писать о Таджикистане.

Таджикистан, Ура-Тюбе, Каннибадам. Ходжент никогда не был Бухарой. История таджиков этой страны отлична от первобытности гор, и история очень древня, как древен город Ходжент.

Город Ходжент древен и обилен прекрасными памятниками старины, как Самарканд. Город этот известен за две с половиною тысячи лет до нашей эры. Город менял имена вместе с историей: он назывался Кир-эсхата в честь персидского Кира, Александрия-эсхата в честь македонского Александра. Арабы в восьмом веке нашей эры назвали этот город Худжандой. Восточные историки называли Ходжент „невестою государств“. Все в этом городе говорит о древности — улицы, мечети, развалины дворца, и этот город бросает мысли в раздумьи о судьбах Стамбула, Смирны, Яффы, Бухары, Самарканда, похожих на него и имевших общую с ним историю — историю магометанской культуры, ныне умирающей.

Ныне Ходжент — город садов и шелка, как и вся страна, лежащая вокруг него, богатейшая, древняя и нищая. Я пишу теперь об этой „жемчужине“ Таджикистана потому, что она есть не только „невеста государств“, но и ключ „государств“.

Мы пробирались дрезиной от Сталинабада до Термеза, аэропланом от Термеза до Ташкента, поездом от Ташкента до Ходжента. От станции Ходжент до города, до реки Сыр, двенадцать километров субтропических садов, глиняных строений, жары и страшной пыли. Мы остановились в древнем переулке, на коврах товарища Х., литератора и европей-

ца, отец которого ни разу не вышел ко мне, а брат и сестра говорили о советской литературе. Из прохлады этого дома, в котором мы жили на коврах и где посреди двора был хауз с зеленой водой, автомобиль, арбы, запряженные волами, верховые лошади и мулы везли нас в Ура-Тюбе (садами, садами, садами, древностью и шелком, шелком, шелком), в Каннибадам, что значит Город миндаля (опять садами и шелком, горами сушеных фруктов и свежих дынь у складов „Фруктопереработки“ и специфическим, распаренным запахом варимых шелковых коконов), на Санто, на Сантонские нефтяные разработки — это уже пустыня — солнце, песок и горы. Но в Санто мы разбили машину, а со мною...

Если ты не знаешь азиатской малярии, то, мой друг! мне не удастся рассказать. В припадках малярии весь мир становится горьким: горькое солнце, горькая земля, горький хлеб, горькая вода — все горько, как хина. Санто я запомнила убитыми нефтью землями, горькими как малярия, нефтяными вышками, нефтеперерабатывающими заводами, рабочим клубом, промфинпланом. Все было знойно, как нефть и залито нефтью как зной, который для меня превращался в нестерпимый холод озноба, гораздо более страшный, чем на ледниках перевала. Меня отвезли в Каннибадам, на фруктоперерабатывающий завод. Завод, на котором работало до тысячи таджикских женщин, заваленный мешками фруктов, залитый электрическим светом и дышащий дыханием машин, как все заводы, спутался в моих ощущениях малярией: когда я, в заводской конторе, на походной кровати, поднимала от подушки голову, я видела реальность — заводский двор, палисад, штабеля фруктов, корпуса цехов, — в бреду спутывались пространства, время: физическая боль разламывала, раскалывала голову и завод вдребезги, завод опускался в горечь хины и в холод перевалов. Бреды описывать здесь не место.

Город Ходжент есть город ткачей и делателей шелка, среднеазиатская Брусса и среднеазиатский Иваново-Вознесенск одновременно, и город Ходжент есть город са-

дов. Иваново и Бруссу я беру образами: Брусса есть древность и кустарничество, Иваново есть машина. Старый Ходжент есть город глиняных улиц, когда на улицу не выходит ни единого отверстия, кроме низенькой двери. За стенами на каждом дворе обязательно квадратный двор, несколько деревьев тута, арык, две террасы двух половин дома, женской и мужской, и на каждом дворе есть третье помещение, полутемное и сырое, обязательно сырое, чтобы шелк волгнул, помещение, где стоят кустарные ткацкие станки и станки для разматывания и скручивания шелка. В этом брусском Ходженте живет несколько тысяч ткачей-кустарей. Веснами женщины носят под мышками грону — яички шелкового червячка, похожие на маковые семена. Теплом подмышек женщины греют грону, чтобы она ожила. Тогда, когда из грены возникают микроскопические червячки, их кладут на пол, на доски, на рамы в домах, всюду, куда можно положить; их покрывают листьями тута, для них топят печи, если недостаточно тепло; люди выселяются из домов на эти дни, когда растут червяки. Червяки едят тутовый лист и растут ежечасно. Они миллионами ползают по человеческим жильям. Иногда они миллионами дохнут от повальных болезней: тогда люди плачут над их трупами как над пепелищами, но здоровые червяки, объев все тутовые деревья, повисают на потолке, на прутьях тута, на рамах — всюду, где можно повиснуть; червяки, выпускают из себя шелковую паутину и закутывают себя ею.

Жилья людей превращаются в арктические пещеры, когда иней коконов, выкрасив жилье в белое, в зное субтропиков напоминают шелковый иней мороза. Когда червяки окончательно закутаны в шелк своих коконов, люди начинают дело смерти: с осторожностью матери женщины собирают коконы, миллионы жизней, эти миллионы жизней кладутся на противни и убираются в печи, чтобы там на медленном жаре умерли и высохли червяки, создавшие шелк.

За делом смерти начинается дело мужчин. Мужчины, уже артелями, в глиняных и в чугунных котлах варят, распари-

вают убитые коконы. В те дни над Ходжентом стоит удушливый запах распаренного шелка. С ловкостью фокусников мужчины вылавливают в котле одну, две, семь шелковых ниточек, поддевают их на крючки, крючки отдают шелковинки веретену, — веретено вертится: и в воде кружатся, спешат размотаться мертвые коконы. Так день, два, три, пока не размотаны все коконы. Семь шелковинок создают шелковую нитку. Эти семь шелковинок, намотанные на веретено, переносятся к другому, от древности пришедшему, станку, на котором шелковинки скручиваются, сучатся, окончательно превращаясь в годные к ткачеству нитки. Затем их красят. И тогда их или растягивают на ткацких станках в виде основы или перематывают на челноки.

На станках ткуются чалмы, материи для халатов и женских платьев, платки, покрывала для одеял, пестрые азиатские ткани, древность, известная миру не меньше, чем брусские шелка. Те, кто кормят червей и ткуют шелк, не носят шелка: эти люди хворают чахоткой и слепотою. Имена иных ткачей в Ходженте надо перенести из цеха ткачей в цех художников, но труд этот нищ и жесток.

Сейчас этот труд умирает. У него растет и сильнееет враг — знание, враг — культура ивановского Ходжента.

В ивановском Ходженте есть завод, который похож на лабораторию университетских клиник, — гренажный завод. Центральный цех этого завода есть громадный зал, где сотни микроскопов контролируют грону. На этом заводе отбирают лучшие коконы. В светлом зале, в комфортабельности, на этом заводе из коконов рождаются бабочки. Бабочку-самца и бабочку-самку сажают в отдельную марлевую клетку. Бабочки любят. Бабочка-самка кладет семена — яички, грону. Бабочки умирают. Марлевая клетка складывается и — в первый раз — идет под микроскоп, где, занумерованная, рассматривается под микроскопом эта мертвая чета, оставившая жизнь в семенах, — порода бабочек, их сложение, их здоровье, их индивидуальности; здесь же рассматривается их потомство, его количество и качество, эти тысячи яичек,

оставленные парой бабочек. Больные марлевые тряпочки уничтожаются. Здоровые марлевые тряпочки идут в следующий цех: там собираются яички, сортируются и изучаются вновь. Когда яички рассыпаны по мешечкам, по породам, по возрастам, по качествам, они идут вновь под микроскоп. Затем эти яички — грена, созданная заводом, — идут жить.

Они отправляются на новые заводы, где для грены, а затем для червячков, приготовлено все, чтобы червячку было тепло, чтобы он был сыт и имел место повеситься. На этих заводах сушатся коконы, распариваются затем и разматываются машинами под контролем термометра. Машины здесь обезличивают коконовую смерть, машины отправляют коконовую нить на ткацкие заводы, где машиною движимые челноки ткут многожды лучшие чалмы, материи для халатов и женских платьев, покрывала и знаменитые уже по Средней Азии ходжентские платки.

Гренажный завод, шелкосушильные и шелкомотальные фабрики, ткацкую фабрику в Ходженте создала советская власть. Женщины в Ходженте на улицах ходят в паранджах. На фабрике и на гренажном заводе (на гренажном заводе — над микроскопами) работают только женщины — без паранджей. Иваново-Вознесенск не только побивает Бруссу, но он же снимает с женщин паранджу.

Ходжент — Ура-Тюбе — Каннибадам (Город миндаля) суть сплошные сады. Эта страна, „невеста государств“, окруженная со всех сторон горами, защищенная от холода севера и от палительного зноя юга, создана природою для виноградов, персиков, гранатов, урюков, дынь, миндаля, фисташки. Эта страна подняла перчатку природы, и эта страна есть сплошной сад, сад виноградов, персиков, гранатов, урюков. В виноградных лабиринтах, когда над твоею головою свешиваются виноградные кисти, можно жить днями, блуждая и блаженствуя. Эта страна — страна цветения.

Город Ходжент — древний город, бывший некогда и Киropолем и Александрией. В этом городе древние медресе и мечети. В этом городе есть чтимые „священные“ места. Три

таких святых места расположены по прямой линии, три могилы святых, на равном расстоянии друг от друга. Мне рассказывали причину такого расположения святых мест: жили два святых старца и оба они педерастически влюбились в некоего прекрасного юношу; сей некий юноша, впоследствии ставший святым, страсть старцев разрешил следующим образом, а именно: он поселился как раз на середине пути между квартирами старцев, чтобы старцам приходилось проходить одинаковый путь; старцы распределили между собою дни посещения сего некоего юноши; все обошлось прекрасно, все трое со временем померли и сделались святыми. На могиле одного из этих педерастов я была и должна сказать, что могилы их пребывают в запущенности и разрушении. На этом могильном дворе странным образом поселилась русская, должно быть очень бедная, семья, и хозяйюшка, после стирки, развесила по двору небогатые свои нижние одеяния мужские и женские. Археолог сказал бы, что могила прекрасна по своим архитектурным качествам.

Ходжентский замок полуразвален, и там сейчас сельскохозяйственный техникум.

Я пишу о советской власти и малярии. Советская власть создала во всей стране, в Ура-Тюбе, в Костакозах, Каннибадаме, Ходжете виноделательные заводы, где миллионы виноградных гроздьев отдают свой сок вину. Фруктоперерабатывающие заводы, где тысячи таджичек и машины сортируют, чистят, моют и сушат фрукты, продукция идет не только Союзу, но и Англии, Норвегии, и Германии, и Ближнему Востоку. Но эти же заводы перестраивают человеческие отношения, когда женщины-жены приносят домой деньги и профсоюзные билеты, но снимают паранджу, когда таджики из крестьян становятся пролетариями, а новые общественные отношения ликвидируют феодализм.

В Ходжете есть эфиромасленный завод. Духи! запахи! Я подхожу к ходжентскому „ключу“, который никак не есть ключ к ходжентскому разрушенному „замку“.

В Ходжете в этом году, впервые в СССР, расцвела

Виктория-регия. Запахи есть самое непознанное, самое неясное, что действует на человека, бросая человека в эмоции, в подсознательные ощущения, в „лирику“. Писателями написаны томы ощущений, вызванных запахами, и томы историй, предопределенных запахами. От древности среди людей живут полумаги, устраивающие запахи: в Стамбуле, в Смирне, в Каире есть позеленевшие в веках переулочки, где старики таинственно переливают из одной древней посудинки в другую древнюю посудинку капли розового масла из Дамаска, смешивая их с семенными вытяжками оленей, называемых мускусными. Эти дела могут показаться священнодейственными: о мускусах, о лавандах, об амбросиях, о полиантусах-туберозах можно услышать длиннейшие легенды, предания и достоверности.

Духи! запахи! — непознанное, полуощутимое!..

Эфиромасленный завод в Ходжете похож на все другие заводы — цеха, машины, лаборатории. На заводских плантациях эфирноносных цветов в этом году, впервые в СССР, зацвела Виктория-регия. Три года назад завода не было. Три года назад в ходжентский исполком пришел инженер и сказал, что тропические окрестности Ходжента исключительно пригодны для выращивания эфирноносных растений. Инженеру дали деньги. Инженер взялся за алхимию. Сегодня у завода семимиллионный бюджет. И, как сказано в отчете, завод „имеет целью ограничение импорта эфирных масел, а в некоторых случаях полный отказ от него путем удовлетворения рынка СССР продукцией социалистической Таджикской ССР“. Нужно цитировать дальше, приводить цитаты, касающиеся технологии создания запахов, чтобы разрушить легенду стамбуло-каирских, попросту говоря средневековых, метафизик.

Получение эфирных масел из растений происходит путем перегонки их с водяным паром в измельченном виде в перегонных аппаратах при давлении поступающего пара в 2,5—3 атмосфер. Время, потребное для полного удаления масел из растений, в среднем 3 часа.

Травы поступают в отделение резки, где подвергаются измельчению на трех соломорезках.

Переработанные растения по нижней ленте конвейера направляются обратно в помещение резки для переработки на брикеты, применяемые силовой станцией завода в качестве отопительного материала.

Некоторые из эфирных масел для применения в промышленности требуют ректификаций, отделения спиртов, терпенов, кетонов, альдегидов и пр.

Получение бензольных эфиров сводится к получению хлористого бензола путем хлорирования при температуре 65–70°.

Очень просто! никакой магии и метафизики, но – чистой химии.

Я была на этом заводе: в одном месте на нем по этажам ездят пуки вяленой травы (не знаю ее имени, но такой, которая растет в Ходженте у каждой канавы), в другом месте женщина в белом халате переливала для меня из склянки в склянку какие-то этиловые, бензоловые и прочие непонятые масла и эфиры, иной раз препаршиво пахнущие, и из их запахов возникали всяческие мускусы, амбры и прочие древневековые запахи, которыми торгуют стамбульские и каирские чародеи. Средневековая алхимия запахов, эмоционального, бросающего в подсознательное, делается сейчас, вываривается, выпаривается на заводах.

Я писала о припадках малярии. В те минуты, когда температура идет вверх, к сорока, к сорока и пяти десятым, даже хорошо на минуты чувствовать то нестерпимое тепло, тот жар, за которым в бреду возникают ощущения, куда более невероятные, чем те, которые даются запахами. Температура при малярии с 40 до 35 падает в какие-то несколько минут, – озноб тогда ужасен.

О малярии я написала не случайно, как сознательно я выписывала подробности производства шелка. Кому, как иным, нравятся крик муэдзинов, паранджа, средневековая метафизика запахов и замков, тем должны нравиться маля-



рия и грена под мышками женщин. Мне больше нравится знать, что запахи делаются из этиловых, метиловых и бензоловых масел и эфиров, шелкового червя выводят на заводе, а малярия излечивается медициной.

Закон притяжения Ньютона существовал, определял движение предметов и до открытия Ньютона. Законы истории есть социальная химия, которую можно не знать, как закон Ньютона, ведь на самом деле в древности убивали мускусных быков и оленей, а малярию заговаривали знахари!

Сивобородые старцы, поделившие юношу, незнание, крик муэдзина, экзотика, жесточайшая несправедливость труда, неуважение к труду и к человеку, бездорожье и путь по оврингам на библейский ишаках, библейская пыль, библейская бедность, библейские базары — какие древние „запахи“, какое „подсознательное“ назначение!

Друг мой, разве тебе не кажется, что советская власть есть тот химический завод, который строит химию истории? Прочти, обязательно прочти с карандашом в руках свои роли, выписывая инстинкты и побуждения своих поступков...

У Лачинова были романы, у него было много любовниц, он пережил много любовных страданий и радостей, как сам говорил. Незадолго до смерти Лачинов побывал у брата Николая на строительстве радиового завода. После полярной экспедиции, после смерти Елизаветы Алексеевны Волчковой, братья ни разу не говорили сердце нараспашку и ни разу не вспомнили Елизавету Алексеевну. Александр приехал к Николаю без определенной цели, он хотел посмотреть как рождается радий и побездельничать, в самой глубине была мысль, что может быть братья начнут говорить по-братски, сердце нараспашку, как в детстве, до смерти Елизаветы Алексеевны. Разговор не состоялся. Неувязки железнодорожного расписания, самолет, глухие леса и деревни — дорога Александра Кирилловича была веселой. Добираться надо было в дичайшее безлюдье северного Урала, в земли Подкаменные, как там говорят, за пятьсот верст от железной дороги, к Полюдовой горе. „Сказано в Евангелии, что Петр

есть камень, но Петр же есть и соль земли”, — размышлял Лачинов, узнав, что уральские жители зовут Урал — камень.

Здесь все было завалено камнями и пропитано солью, и на заваленках у новых изб по урочищам и селам кладут здесь соль, чтобы солнце впитало соль в дерево, ибо тогда стоят срубы столетьями: на солях и на камнях нет ни чухотки, ни тифа, ни холеры, и деревья растут в сорок аршин ростом и в два человеческих обхвата. — „Время застит” — уральская пословица, — и все же через века, как просолились эти места Иваном Грозным, заселителем „Перми Великой — Чердыни” (чердынцы называют себя — чердаками), „именитыми людьми” Строгановыми, здесь было памятно имя Ермака, покорителя Сибири, подлинное имя которого — Василий Тимофеевич Аленин.

Ожидая самолета, Лачинов спросил мужика:

— Кто ты?

Тот ответил:

— Колхозник.

— Твое имущество? — спросил Лачинов.

Тот ответил:

— Два ружья да пять собак!

и из этих двух ружей одно дедово, кремневое, — и из этих пяти собак одна на белку, другая на медведя, третья на рысь. Белок бьют из кремневого дробинкою в глаз: если попал в другое место, шкурка бракована. Налоги берут здесь с ружей.

Леса, тишина, горы. Как всегда, когда рокотал пропеллер самолета, — по дорогам, по пахотам, верхами, на телегах, рысью, вскачь, на-своих-на-двоих — бежали к самолету — мужики, парни, бабы, девки, дети, древнейшие старики — посмотреть.

Пилоты убирали самолет.

Молодой парень спросил Лачинова:

— Позвольте вас спросить, товарищ, по прямой линии с востока на запад сколько верст в час пролетит самолет?

— Сто семьдесят километров, — ответил Лачинов.

— А с запада на восток?

— Тоже сто семьдесят километров, — ответил Лачинов. Парень задумался, прищурил глаз, сказал:

— При такой скорости для точности, хотя бы пока в секундах, но принципиально надо брать в расчет вращение земли, товарищ!

Спросил дед:

— Что же, на небе холодней, что ли? — я гляжу, вы куртки меховые надеваете.

— Да, — ответил Лачинов, — чем выше, тем холодней. В высоте на три тысячи метров вода мерзнет в самую большую жару.

— Та-ак, — ответил дед раздумчиво, — святым, выходит, там холодно, — в шубах, небось, приходится ходить!... — И добавил: — Дальнее поле жать ездить — очень подходяще.

Когда Лачинов, надев уже шлем, садился в самолет, он слышал, как одна баба сказала другой: — „коров пригнали, доить иттить надо!“ — и вторая баба ответила: — „погоди, надоишься на своем веку, — не каждый день ероплан летает!“ — и Лачинов с удовлетворением представил себе, как миллионы русских баб в этот закатный час, по команде солнца, сидят у коровьего вымени, миллионы доятся коров, — миллионы российского лаптя кабалы к земле. Лачинов оглядел самолет, заглянул в кабину. Вот тут, у этого поля, где родились и умерли деды собравшихся, где в памяти соликамские строгановские разбои, где все родное, где пасутся овцы, а через речку плавает дощаник, такой дощаник, которому от рождения лет пятьсот, поди, — здесь на этом поле лежал самолет, человеческая воля, несущая человека в небо, воля, прилетевшая сюда за ним, Лачиновым.

Пропеллер заревел, толпа отвернулась от самолета, — или самолет отвернулся от толпы? — Земля стремительно начала мчаться — до того момента, пока она не качнулась под самолетом, земля поползла назад, река, леса, поля, игрушки деревень, рубаха России.

Лачинова встретили на стройке очень тепло, как артиста,

человека всем известного. Лачинов нервничал перед встречей с братом, но Николай ждал самолета только утром, уехал в леса на лесные работы и вернулся лишь к полуночи. Лачинова встретили инженеры, повели его на ужин в клуб ИТР, решили забрать его после ужина на квартиру одного из инженеров, чтобы Лачинов продекламировал что-нибудь, достали вино, устроили праздник в честь Лачинова. Лачинов декламировал „Пир во время чумы” Пушкина, „Анчар” и Иннокентия Анненского:

Но когда бы и понял старый вал,  
Что такая им с шарманкой участь,  
Разве б петь, кружась, он перестал,  
Оттого, что петь нельзя, не мучась?

Все немного выпили. Дамы, жены инженеров, весело флиртовали. Рядом с Лачиновым сидела самая красивая из них (ее имя и фамилию Лачинов осознал только через два дня, запомнив, что она полька). Лачинов флиртовал с ней, говорил ей комплименты, инженерша ему нравилась. В полночь приехал брат, братья поздоровались спокойно и дружески и вся кампания пошла в лабораторию. Брат хотел прежде всего показать место работы.

Электричество показывало столы с колбами и микроскопами, цинковые жбаны, тигели, эмалированную плиту, застекленные белые полки, застекленные шкафы и лотки с образцами минералов: электричество показывало будничную, рабочую лабораторию горного завода, где каждый день по утрам инженер должен делать очередную свою аналитическую работу и где, поэтому, чуть-чуть ест глаза аммиаком, соляной кислотой, сероводородом. Инженеры одели черные перчатки. Было погашено электричество. Лачинов оказался в таинственном мире земных недр и того, что не познано человеком. Факт нереальный: — таинственнейше, непонятно, непознанно начинали во мраке флюорисцировать, фосфорисцировать камни, виллемиты, бариты, радиевы соли, стены, столы, одни сильнее, синее, другие тусклей, зеленей, иные совсем желтым светом.

Лачинов понимал, что человек предстоит пред таинственнейшим и величественнейшим, к чему человека привело знание: вечно, как ежесекундно, как тысячелетие, — радий, уран, торий, — излучали энергию.

Брат сказал:

— Ты находишься у нового порога человеческого знания, где для энергии и для человека нет пределов, кроме пределов человеческого знания. Та энергия, которая теперь светится, перестраивает теории мироздания и твердо созвучит безусловным рефлексам, внутриатомной энергии человеческого мозга. Человек научился собирать в горсть радиевы соли. Если он на самом деле возьмет в руку радиеву соль, бэта-лучи пронизуют руку, прознобят, рука зачирвеет — не случайно мы работаем в резиновых перчатках. Но человек забрал радий в свой мозг, человек подсмотрел за радием, за его альфа-, бэта- и гамма-лучами, вечно излучающимися. Мы будем разлагать торий и уран так же, как солнце бросает нам на землю оторванные куски самого себя, так же, как мозг разлагает мысли. Если мы сожжем плитку каменного угля, равную по величине спичечной коробке, и если мы не сожжем, а разложим энергию, скрытую в том самом куске угля, — в этом втором случае мы получим энергии в триста шестьдесят тысяч раз больше, чем в сжигании. Обычное сжигание одной тонны угля дает достаточно энергии, чтобы дать движение локомотиву поезда в продолжение одного часа, между тем как распад этого же количества материи дал бы достаточно энергии для освещения, нагревания, перевозки и вообще для надобностей всей промышленности Соединенных Штатов в течение ста лет.

Брат замолчал. Все молчали. Было слышно как молчали Подкамень, горы и леса, почти не пройденные человеком, в пятистах верстах от железной дороги. И таинственнейше, светом звезд, луны и всего ночного, горели, флюорисцировали камни и соли лаборатории.

Более, чем данные об американской промышленности на Лачинова подействовали черные перчатки на руках инжене-

ров. Женщина, сопровождавшая его, стояла рядом. Он взял ее руку и в непроницаемом мраке поднес к губам. Сказал шепотом, коснувшись губами ее волос: вы не боитесь вечности?

Она молчала.

„Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю... Все, все, что гибелью грозит...” Я не боюсь вечности...

Когда братья остались одни, Николай, отговорившись усталостью, сразу пошел спать. Не было места для сердечного разговора братьев. С утра Лачинов осматривал строительство. Там, где родится радий (факт нереальный!), — там, где родится радий, ничто не живет, ничто не растет, ибо, по определению Лачинова, как человеческая судорога, судорога физики, рождая новые пороги, — смертоносна. И действительно Полюдова лощина была пуста, мертва, бурые камни без тропинок, без деревца, без моха. Брат сказал, что зимой таял в Полюдовой лощине снег, не лежал, — голая земная энергия спаливала его. Бил из земли ключ, полз от ключа удушливый пар. Совершенно понятно, что и за сто лет до начала строительства ни один зверь не жил в этой лощине. Тогда здесь царила мертвая тишина, эти места обходили зверь и человек. Теперь в штольнях совершенно нормально работали люди, чтобы изменить теорию возникновения мира. Лачинов произнес: „Данте мог бы взять в Полюдовой лощине материалы для третьего круга своей „Комедии” — у этих камней, отказавших живому в жизни!” В выходной день инженеры пригласили Лачинова на пикник, ловить рыбу километров в десяти от строительства. Брат не поехал. Ловили рыбу, пили, Лачинов декламировал и разговаривал. Инженер в вышитой рубашке, утверждавший, что водку надо пить стаканами, подняв стакан с водкой к свету от костра, говорил:

Радий! — все человеческое чернокнижное средневековье искало философский камень и строило *perpetuum mobile*, — тот философский камень, который превращал бы вещества, тот *perpetuum mobile*, который давал бы вечную энергию.

Таинственный, непознанный радий излучает вечный поток тепла и света, творит, не иссякая, создавая новые вещества из прежних веществ, — тот философский камень, для которого нет преград, лучи которого идут, проникая через все, через камень, железо, мрак, свет, холод, все деформируя и преображая, — *perpetuum mobile*. Чернокнижное средневековое чернокнижной ятрохимии и алхимии, метафизика, ведьмачество, черная кровь, черная магия, душа черту, — нашли философский камень, — имя ему: радий, разлагающий собою все, его окружающее. Массонские ложи, тесные кварталы средневековья, подземелья под готикой сводов — сейчас философский камень лежит на полках нашей лаборатории, — к черту все это!

Женщину, которая нравилась Лачинову, звали Ядвига Фелициановна, она была женой инженера Петражицкого. Владислав Владиславович Петражицкий был стройным мужчиной, очень вежливым и молчаливым, тщательно одетым и выбритым. Он держал на руке пальто жены и скучал на пикнике. Лачинов, потому что флиртовал с Ядвигой Фелициановной, говорил с ним о польской культуре, о Варшаве, о Марине Мнишек. Лачинов видел Ядвигу Фелициановну между первой встречей и пикником. Они встретились на почте и пошли на прогулку. Поднялись на гору, на аэродром, в лес. У Петражицкой были голубые глаза и легкая походка. Говорили о театре. Она пахла нерусскими духами. Ей было двадцать восемь лет. На крутых тропинках Лачинов давал ей руку. Они сидели рядом на камне, на вершине горы, откуда видны были небо и поросшие щетиной леса горные вершины. Лачинов нанес визит Владиславу Владиславовичу. Ядвига Фелициановна играла для него на фортепьяно, на том единственном фортепьяно, которое муж привез на строительство на Полюдовую гору. В доме было не по-русски, очень чисто и убрано. И на пикнике, когда они были одни на берегу реки, Лачинов, взяв обе руки Ядвиги Фелициановны, как это делал много раз в жизни, наклонив голову и положив ее руки на свои волосы, внезапно шепнул:

— Милая, милая, милая... Тогда, около тайн радия, вы мне не ответили — боитесь ли вы вечности. Я сказал тогда, что ее не боюсь. Оказалось, я был не прав. Я боюсь ее, потому что боюсь вас — вас и себя, своего головокружения!..

Она ничего не сказала. Отвернулась и быстро отошла от костра. На лодке, когда возвращались домой, Лачинов подал ей руку и сел рядом. Все начали петь. Лачинов наклонился к ней и шепнул:

— Вы приедете в Москву... вы приедете в Москву.

Прощаясь, Лачинов, обращаясь ко всем, говорил:

— Я улетаю через два дня. Очень прошу всех, будучи в Москве, ко мне в гости. Если соскучитесь со мной, в вашем распоряжении будут билеты на московские спектакли.

Ядвига Фелициановна сказала:

— Буду в Москве в ноябре.

Через два дня Лачинов улетел, так, собственно говоря, и не осмотрев строительства. В небе Лачинов декламировал Пушкина. Машину вел старый знакомый, еще по полярной экспедиции, пилот Обопынь.

На земле борт-механик Снеж молчаливо наливал через замшевую воронку бензин, просматривал мотор. Обопынь курил вместе с Лачиновым. Покурили и пошли к самолету. Обопынь сел в кабину. Борт-механик разворачивал пропеллер („контакт!“ — „есть контакт!“). Мотор зарокотал. Самолет на земле — немецкий юнкерс — черная провалина носа мотора с выемками глазниц-кабин пилота и борт-механика — походил на человеческий череп, символ тлена мудрости, как определил Лачинов. Снеж сел рядом с пилотом, пристегнулся ремнем, подтянул ремень шлема.

Самолет — это та прекрасная машина, которая несет человека в воздух, которою человек — себя и свою волю бросил за облака. Самолет — это тот человеческий гений, та человеческая воля, которые не допускают неточностей: недовинчена, перевинчена самая пустяковая гайка, — он упадет с неба, — от человека, понесшего его в небо, не останется даже костей; — но каждая гайка, таящая смерть, свинчена



человеческим мозгом: и голова того, кто понес машину в воздух, должна быть ясна, как гений гаек мотора и хвостового — на самолете — операция, — ибо иначе — смерть. Обопынь лихо выругался, подморгнул механику. Машина пошла в воздух.

Полет! — если человек верит в гречневую кашу правды, что „рожденный ползать — летать не может“, — пусть тогда он не идет в воздух, не завязывает ремень, не затягивает шлема: его мозг будет видеть разбитые крылья самолета, разможженные тела, смерть. Там в воздухе известно, что самолет идет сто семьдесят километров в час, только известно, ибо быстроты полета чувствовать нельзя, и видно лишь, как там внизу ежесекундно отбрасываются назад клинья полей, озера, леса, — земная рубаха, земная карта. И тоже только известно, что самолет в двух километрах над землей: высоту нельзя чувствовать. Лачинов, окруженный стихиями, обнаружил, что он летал многожды уже, главным образом в отрочестве и юности, от двенадцати до семнадцати лет, во снах. Он признался самому себе, что полеты те, во снах, — куда величественнее, значимей, страшнее — полетов подлинных! — там, во сне и в детстве, нет препятствий полететь на лунные болота на луну, в неподлинность, в фантастику, — здесь на самолете в небе подлинность измерена точностью механики. Лачинов убедился: выдумывать, проектировать, романтировать — много интересней, чем отыскивать явь. Ревели пропеллер и ветер. Земля отсюда из высот казалась одетой в очень старую, очень заплатанную, многожды перешитую рубаху пажитей (пажити потом исчезнут в лесах), лесов, гор, оврагов, лощин, рек: вон та географическая карта, что лежит внизу, и есть рубаха России — то ржаная, то гречневая, опушенная овчиною лесов, расшитая серебром рек и позументами сел, — нищая рубаха, и все же бархатная, — ах, как византийски разукрашенная, как выразился Лачинов. И Лачинов декламировал:

— ... „Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане“ —

— „Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья” —

И Лачинов пробовал сам сочинять: — „есть упоение в бою” — есть упоение в полете. Действительно, каждый, кто ходил в воздух — через явь сновидений, через волю — должен знать упоение полета: когда с большой высоты самолет идет быстро вниз, звенит в ушах, густеет и бухнет в жилах кровь, — стало быть, чем выше в воздух, чем дальше от земли, тем спокойнее — неизъяснимее сердце и кровь! Но для некоторых явь полета дороже снов.

В Москве, идя однажды по Арбату, там где улица Воровского выходит на Арбатскую площадь, Лачинов заметил польский книжный магазин, зашел, купил книгу, надписал ее: „Многоуважаемым Ядвиге Фелициановне и Владиславу Владиславовичу Петражицким, на память о прекрасной Марине Мнишек”, и выслал на Полюдовую гору. Сделал он это собственно говоря не для Ядвиги Фелициановны, а для всех тех инженеров, которые так гостеприимно его встретили, чтобы иногда мило вспоминали. Возможно, что где-то таилась мысль: неплохо бы освободить ноябрь для красавицы-польки. От Петражицкого пришел очень вежливый ответ с приветом от жены. А потом все было забыто, вместе с Полюдовой горой. Было начало августа, начинались репетиции, жена уехала на Кавказ, Лачинов с прислугой переселился на новую квартиру, где его кабинет размещался в бывшей домашней часовне, а кушетка стояла в алтаре, вещи не были расставлены, в ожидании жены. Мумия вернулась домой. Лачинов обедал в ресторанах, убивал время с друзьями, немного пил. Вечером принесли телеграмму:

— Владислав Владиславович Петражицкий умер. Ядвиге Фелициановне Петражицкая.

Лачинов прочитал пять раз, позвонил приятелю, сказал:

— Ты понимаешь, капуцин, я получил странную телеграмму. На Полюдовой горе я познакомился с некой инженершей, очаровательной полькой, действительно прелестной и.. и

в дополнение ко всем ее прелестям — верной женой. Я говорил ей сладкие слова и единственное, что поцеловал, когда мы были наедине — руки. А теперь получил от нее телеграмму — такой-то, имя, отчество, фамилия, то есть ее муж, умер, и подпись — такая-то, имя, отчество, фамилия. Никак не могу понять, что я, случайный знакомый, имею с этим общего. Эта пара, поляки, действительно держалась в стороне от остальных инженеров. Может у нее совсем нет друзей? Не понимаю!

— Во всяком случае ты должен послать ей телеграмму с выражением сочувствия, — сказал приятель.

Лачинов телеграфировал художественно:

— Всем сердцем с вами. Александр Лачинов.

Пришло срочное письмо:

Многоуважаемый Александр Кириллович, мое имя Вам ничего не говорит, но я пишу Вам, видя отчаяние Ядвиги Фелициановны, описать которое мне не хватает слов. Как только будут закончены последние формальности, она выезжает в Москву. Я и мы все умоляем Вас, по мере возможности позаботиться о Ядвиге Фелициановне, эта прекрасная и несчастная женщина того заслуживает. У нее самой нет сил, чтобы преодолеть отчаяние, помогите ей Вы!

С глубоким уважением... подпись (как у многих интеллигентов) неразборчивая.

Лачинов изумлялся все больше и больше. Письмо пришло одновременно с телеграммой от брата, извещавшей, что брат будет в Москве.

И пришла телеграмма:

— Буду в Москве такого-то и такого, таким-то поездом, прошу ждать. Петражицкая.

Брат должен был приехать за сутки до Ядвиги Фелициановны.

Многokrатно прочитав все телеграммы и письмо, Лачинов счел необходимым снять для брата номер в гостинице, оправдываясь беспорядком после переезда, ремонтом и отсутствием жены. При встрече, беседа о пустяках, Лачинов

спросил брата: — Ну, а как там на Полюдовой горе наши общие знакомые Ивановы, Петровы, Петражицкие?

Брат ответил:

— Все в порядке. Строительство идет нормально. Что касается Петражицкого, то он умер от разрыва сердца.

Лачинов больше не расспрашивал.

По дороге на вокзал, встречать Ядвигу Фелициановну, Лачинов не знал толком, что его ждет. Он не знал как Ядвига Фелициановна привыкла жить, не знал, есть ли у нее в Москве знакомые или родные. Поместить ее у себя он решительно не хотел. Он не знал какими средствами Ядвига Фелициановна располагает. На всякий случай предварительно заказал номера в двух гостиницах — дорогой и дешевенькой — и решил, что ужинать поедут в клуб артистов. Поезд приезжал вечером и опоздал. Ожидающие Ядвигу Фелициановну разделились на две группы. Лачинов заметил одну из жен инженеров, с которой познакомился на Полюдовой горе, и догадался, что она также пришла встретить Петражицкую. Он поклонился ей очень церемонно, с достоинством народного артиста республики. С этой женщиной было двое мужчин, явно выглядевших инженерами. И действительно, эти трое пришли встретить Ядвигу Фелициановну, они остановились у ступенек международного вагона. Ядвига Фелициановна сошла на перон, как лунатик, в синем костюме, с небольшим чемоданчиком в руке, с мертвыми глазами. Встречающие подошли к ней. Лачинов слышал, как они стали говорить:

— Ядвига Фелициановна... какое несчастье... коллеги... мой муж... как это могло случиться... наше сочувствие...

— Ядвига Фелициановна, пожалуйста, остановитесь у меня, — сказала жена инженера.

— В конторе строительства вам приготовлена комната, — сказал инженер.

Глаза Ядвиги Фелициановны были мертвы. Движения лунатичны. Она ответила, не слушая и прощаясь:

— Спасибо, меня ждут — до свидания!

И подошла к Лачинову. Лачинов поцеловал ей руку. Она молчала и не двигалась с места. В своем артистическом арсенале Лачинов не обнаружил улыбки, сочетающейся с выражением сочувствия. Ядвига Фелициановна посмотрела на него внимательно, изучая и его лицо, и его чувства, как реальные вещи. Остальные, пришедшие встретить ее, отошли.

— Возможно, я совершила ошибку, приехав к вам. Куда я поеду? — спросила она.

Носильщик с чемоданами пошел к выходу. Лачинов вспомнил, что не позаботился заранее ни о такси, ни об извозчике. Эта красивая и гордая женщина, шедшая бессильно и покорно, была очень хороша, гораздо красивее, чем на Полюдовой горе.

— Я заказал вам номер в Метрополе, — сказал Лачинов.

— Нет, нет, я хочу остановиться в самой спокойной, самой неизвестной гостинице! Нет, нет, не в Метрополь! Последний раз в Москве, с Владиславом Владиславовичем...

Носильщик долго искал извозчика. Извозчик поехал боковыми улицами. Лачинов взял руку Ядвиги Фелициановны и голосом осужденного сказал:

— Рассказывайте.

Она не ответила. Съежилась от ночного холода. Лачинов вспомнил, что он в белом костюме и сразу же ему стало холодно. Ядвига Фелициановна покорно оставила свою ладонь в ладони Лачинова.

— Александр Кириллович, я совершила ошибку, приехав к вам, правда?

Она пожалала руку Лачинова, схватив ее, и опустила ногу со ступеньки коляски, чтобы соскочить после ответа Лачинова.

В гостинице шел ремонт, пустые коридоры были заставлены лестницами и пахли свежей краской. Номер был на четвертом этаже. Лифт не работал. Окна в номере были открыты, чтобы выветрился запах краски. Чинили электричество и пока в номере стало светло, в нем поселилась пришедшая из окна черная августовская московская ночь. Ресторан в гостинице был уже закрыт. На ужин в клуб Ядвига Фели-

циановна поехать отказалась. Лачинов настаивал, чтобы она что-нибудь съела, служитель обещал скипятить чай. Лачинов предложил Ядвиге Фелициановне, чтобы она пошла в ванную, а он тем временем съездит в клуб за холодным ужином. Она была покорна и всему подчинялась.

Вернувшись, Лачинов застал Ядвигу Фелициановну на том же месте, на котором ее оставил, но на столике возле кровати лежала польская книга, посланная Лачиновым на Полюдовую гору. Ядвига Фелициановна, женщина с неподвижными глазами и движениями лунатика, произнесла не более десяти фраз. Лачинов делал вид, что все в порядке. Служитель принес чай, тарелки, вилки. Лачинов делал бутерброды, резал цыпленка.

— Ядвига Фелициановна, ешьте, вы должны подкрепиться.

Она неподвижно сидела за столом. Лачинов взял бутерброд и вложил его в руку Ядвиги Фелициановны. Ее рука не двигалась.

— Если вы хотите, буду вас кормить!

— Это случилось в воскресенье, в выходной день. Владислав Владиславович целый день сидел за письменным столом, писал статью в газету. К вечеру я пошла на теннис со знакомыми, а потом зашла к Наталье Николаевне, доктору, в десять вернулась домой на ужин. Владислав Владиславович как раз закончил статью, уже вложил ее в конверт. Он сказал: „Ну, наконец, закончил статью, трудно было изложить результаты исследований. Сегодня у меня особенно хорошее настроение. Пожалуйста, посвети мне свое время после ужина, мы так редко бываем вместе. Если тебе не скучно, прочитаю мою работу. Или сыграем в шахматы, так давно мы не играли”. Сказал и улыбнулся. Я ответила, что устала, играя в теннис. Он улыбнулся еще светлее и поцеловал меня в руку: „Милая моя женушка, мы прожили вместе девять лет, за нами студенческие общежития, перед нами большая работа, а Александр Кириллович Лачинов это только эпизод” — сказал он. Я ответила, что не понимаю причем здесь Александр Кириллович. Владислав посерьезнел, глаза его были

мягкими. „Я чувствую себя сегодня очень спокойно, я хорошо поработал, творчески поработал, и хочу говорить с тобой так же спокойно, как я себя чувствую. Будь искренна, ты ведь искренний человек. Ты любишь теперь не меня, а Александра Кирилловича, ждешь ноября, чтобы с ним встретиться. У меня есть глаза — я люблю тебя и все вижу. Я начал говорить с тобой об этом, потому что мне все ясно. И ты знаешь, что Лачинов это только эпизод. Давай посоветуемся вместе, как быть дальше”. Он говорил с огромной добротой, у него были мягкие глаза. Я не могла ему солгать. Ответила, что, да, не перестаю думать о Лачинове, вспоминаю все, что он сказал, да, жду ноября. Я ответила, да, знаю, что это только наводнение, что кроме страданий ничего мне это не даст. Я расплакалась и сказала Владиславу правду, что люблю его, просила, чтобы он защитил меня от Лачинова. Владислав ответил, что просит меня быть с ним искренней, считал, что это будет самое лучшее лекарство, что если нужно, он поедет со мной в ноябре в Москву, что даже отдаст меня Лачинову, если Лачинов был искренен и если достойно возьмет мою судьбу в свои руки. Мне стало легче. Во мне пробудилась огромная нежность к Владиславу. Тогда по крыше дома застучал дождь. Мне стало ясно, что никогда, никогда не уйду от Владислава, вспомнила всю нашу жизнь. Мы сели за шахматы и играли, как в студенческие годы. У нас с Владиславом были отдельные спальни. В этот вечер, когда пришло время сна, я сказала Владиславу на ухо: „Можешь прийти ко мне, а если не хочешь, я приду к тебе...” Он улыбнулся такой простой, товарищеской, веселой улыбкой, что я не почувствовала ничего, кроме благодарности — и сказал: „Нет моя милая, не нужно — сначала следует совершенно избавиться от Лачинова, так чтобы не только тени, но даже воспоминания о нем между нами не было — все тогда придет! Доброй ночи, любимая, завтра в шесть вставать на работу”. Утром я проснулась такая молодая и счастливая, как в детстве. Все во мне было пронизано солнцем, надеждой, радостью. Владислав уже пошел на работу. Утром я прежде

всего пошла на почту, отправить статью Владислава в редакцию. Мысли о Лачинове казались ночным кошмаром. Встретившаяся приятельница спросила меня: „Что это с вами, вы сияете, как пасхальное воскресенье?!“ Тогда подошел ко мне мастер Васильев, работающий с Владиславом Владиславовичем, у него был испуганный вид, он сказал, чтобы я немедленно шла домой. Я даже не спросила, что случилось. Владислав Владиславович на работе почувствовал себя плохо, его повезли домой, он умер по дороге. Врачи констатировали разрыв сердца. Он был здоровый человек. Врачи ничего не понимали. При мне один врач спросил другого: „Вы не знаете, у него были серьезные неприятности по службе?..“

Бутерброд неподвижно лежал в неподвижной руке Ядвиги Фелициановны. Лачинов бессмысленно уставился в икру, намазанную на масло и хлеб, в эти тысячи убитых и засоленных живчиков. Глаза Ядвиги Фелициановны были неподвижны, прекрасны, без выражения. Лачинов осторожно взял бутерброд и положил его на стол. Ядвига Фелициановна с ужасом, возвращаясь к действительности, осмотрела номер, увидела Лачинова, выражение глаз изменилось, они начали увеличиваться, темнеть, заблестели слезами.

— Вы или я, не знаю кто, убили человека. Я послала вам телеграмму о смерти Владислава Владиславовича, как проклятие. Ведь вы меня пригласили. Вот я и приехала, чтобы рассказать вам обо всем и чтобы сказать, что кроме вас у меня ничего нет.

Ее глаза снова высохли, снова стали пустыми, ничего не выражающими, остановившимися в пустоте. Лачинов не мог этого выразить словами. Он начал ласкать мертвые (и холодные) руки Ядвиги Фелициановны, руки были очень мягкие и пахли так же, как на Полюдовой горе, на вершине, в лесу.

— Говорите, Ядвига Фелициановна, — сказал Лачинов.

Она молчала.

Лачинов сел рядом с ней. Плохо отдавал себе отчет в том, что происходит и на мгновение почувствовал приступ болезни, которой заболел в Арктике. Ему жалко было чело-



века. Самым страшным для него были пустые глаза Ядвиги Фелициановны и ее неподвижность. Временами Лачинову хотелось взять ее за плечи и трясти, чтобы она очнулась. Лачинов положил голову Ядвиги Фелициановны себе на плечо, начал гладить волосу, лоб, щеки и говорить неуклюжие слова:

— Ну, успокойтесь, говорите что-нибудь, это страшно, у меня нет слов... успокойтесь, завтра, когда нервы успокоятся, мы обо всем поговорим... я говорю чепуху, у меня нет слов...

Лачинов обнял Ядвигу Фелициановну, как обнимают испуганных детей, чтобы дети чувствовали, что грудь дорогого и близкого человека защищает их от мира. Они просидели так не меньше двадцати минут. Глаза Ядвиги Фелициановны закрылись. Внезапно Лачинов почувствовал дыхание Ядвиги Фелициановны, оно стало прерывистым, нервным. Ядвига Фелициановна подняла руки и обняла Лачинова за шею. Глаза ее были закрыты. Лачинов снова почувствовал ее дыхание и подумал, что так дышат женщины в момент сексуального возбуждения. Лачинов отогнал от себя эту мысль, как галлюцинацию. Ядвига Фелициановна все сильнее обнимала шею Лачинова.

В дверь постучали. Ядвига Фелициановна опустила руки и открыла мертвые глаза. Вошел гостиничный служитель, извинился, сказал, что по гостиничным правилам те, кто не проживает в гостинице, могут находиться в номере только до полуночи, а теперь половина третьего и он хотел бы погасить свет. Вышел.

— Нужно идти, — сказал Лачинов.

Ядвига Фелициановна снова обняла шею Лачинова, высоко закидывая руки, и положила ему голову на грудь. Глаза ее закрылись.

— Нужно идти, — сказал Лачинов.

Она взяла его руку и положила на свои волосы. Лачинов снова услышал ее дыхание, дыхание женщины в минуты страсти. Лачинов обеими руками взял ее голову, откинул назад, поцеловал в лоб и встал. Она встала вместе с ним, не опуская рук.

— Не уходи, — Лачинов не заметил, что она сказала ему — ты. — Я не могу быть одна.

— Я приду завтра рано утром. Нужно подчиниться гостиничным правилам.

Лачинов почувствовал, что он рад этим правилам. Ядвига Фелициановна открыла глаза. Лачинову показалось, что он падает — в пропасть, в подвал или в колодезь этих глаз, ломая в этом падении ноги, дробя череп. Из глазниц смотрели не него распаленные, остановившиеся глаза, смотрели с ужасом, страстью, ненавистью, любовью, приказом, мольбой. Рот и легкие Ядвиги Фелициановны задыхались от крика. Углы рта озверели. Она начала беспамятно говорить:

— Мы убили человека. Я не могу быть одна. Возьми меня, возьми меня!

Ее руки были на шее Лачинова. Губы при его губах. В подвале глаз распадались вдребезги и череп, и Полюдовая гора, и смерть мужа. В дверь постучал гостиничный служитель.

— Я приду к вам завтра в десять утра.

Августовская ночь распорядилась в Москве. По дороге Лачинов ощущал только дрожь. Завтрашние десять утра вырастали в галлюцинацию, в болезнь, оставшуюся у Лачинова после Арктики.

Дома Лачинов нашел пилота Обопыня. То, что он делал, не удивило Лачинова, после встречи с Ядвигой Фелициановной. Он уже не осознавал, что потерял чувство действительности. Он переживал приступ своей болезни, поэтому Обопынь не произвел на него впечатления. Обопынь казался сильно пьяным. Он был в алтаре. Со страхом, но тоном строгого приказа Обопынь говорил:

— „Грудку, грудку поцелуй, ножки! Возьми ее, приласкай, поноси!“ — и корчась под тяжестью камня мумии, он носил голую мумию по комнате, качал ее, как ребенка.

Обопынь кричал:

— Я сейчас с аэродрома. Мне говорят, я вылетался, потерял сердце, — ерундиссима! — Куда угодно, как угодно я поведу машину, — в облака, за облака, с закрытыми

глазами поведу, как хочешь. — Нет, я не потерял сердца, — пусть кто-нибудь другой вылетался, это не мое дело!.. Я с мумией живу, поди!.. Ерундель, — по-французски — ласточка!.. Это, знаешь... наша профессия. Пилоты, со временем, теряют сердце, у них появляется неуверенность, они начинают бояться воздуха, у них пропадает глаз, они неверно ведут самолет, — нервы гадятся. Если их болезни не заметят, они всегда гробятся, разбиваются. Страшная болезнь! Человек боится воздуха, марает, как шмендрик, — и все-таки лезет в воздух, не может жить на земле, нечего ему на земле делать, — боится воздуха и лезет на него, — а на земле скучает, томится, водку пьет, — а в воздухе еще больше того дрожит от страха и — гробится на ровном месте, как шмендрик. Нет, я не вылетался, — нет-с, — ерундиссима, аттанде немного!.. Я в себе силу открыл. Велю, и никакая машина не может разбиться. Велю, и мумия будет танцевать. Это я тебе велел целовать мумию.

В шесть утра позвонил телефон.

— В это время Владислав Владиславович всегда уходил на работу. Я не могу быть одна. Возьми меня... возьми меня куда хочешь.

Обопыня уже не было. Обопынь был старым знакомым, братья Лачиновы однажды вместе с ним участвовали в полярной экспедиции, было это в молодости, в год войны. Тогда Обопынь был кинооператором, а сразу же после Арктики его мобилизовали, как пилота. Александр Лачинов пережил тогда в Арктике болезнь потери самого себя. Это случилось, когда пути братьев разошлись. Артисты — эта человеческая раса хорошо известна. Следует предполагать, что самое страшное в профессии актера, то, что он стоит перед зеркалом гораздо больше многих кокетливых женщин. Еще страшнее то, что в зеркале актеры изучают не себя, но способность быть непохожим на самого себя, способность притворяться другим. Актерское искусство вообще отличается от всех других видов творческого искусства. Если писатель создает людей и новые впечатления, если философ

и ученые создают новые понятия, если художник создает новые формы и краски, актер должен воссоздавать то, что было создано до него, должен уподобиться. Если писатель, художник, ученый работают в одиночестве кабинетов, мастерских и лабораторий, то актер делит свое творчество между ярмаркой зрительного зала, награждающего успех аплодисментами, и — зеркалом. Лачинов умел произносить монологи. Лачинов изучил перед зеркалом каждый свой жест и каждый свой мускул. Лачинов умел заставить зрителей лезть на кресла от восторга и плакать от сочувствия, ведь он был народным артистом республики. Но кроме актера существовал человек с любовницами, домом, женой, домашней жизнью, бюджетом и т. д. Тогда в Арктике Александр впервые осудил на гибель — себя, не как актера, но как человека — это были приступы галлюцинации. Это была болезнь и раздвоения, и потери самого себя. Александр и Николай Лачинов, два близнеца, не были подобны. Полярная экспедиция погибла тогда на острове, который в честь начальника экспедиции был назван островом Николая Лачинова. Александр Лачинов после приступа болезни вернулся в Европу через Шпицберген. За Николаем Лачиновым было отправлено судно „Мурманск”. Николай Лачинов вернулся из Арктики в 1917 г., чтобы делать коммунистическую революцию.

„Станция 18.  $\varphi$  76° 51',  $\lambda$  41° 0 mt, 5 ч. 0 м. 22 — VIII.

Станция пропущена ввиду большого шторма. Ветер 6 баллов волнение, 9, судно клало на волну на 45.

Станция 19.  $\varphi$  77° 31',  $\lambda$  41° 35', 372 mt, 13 ч. 0 м. 22 — VIII.

Подводные скалы с зарослями баланусов, гидроитов, асцидий и мшанок. Тралл Сигсби дважды. Оттертралл. Результаты: очень много *Hyperammia subnodosa*, *Ophiura sorsii*, много трубок *Maldanidae*, *Ampharetidae*, много *Eupagurus pubescens*, один экз. *sabinea*, 7 — *carinata*. В илу найдено до 20 видов корненожек, кроме *Hyperammia* преобладает *Trancatulina labatula*. Обильный мертвый ракушечник,

при полном отсутствии живых моллюсков.

Станция 20.  $\varphi$  77° 55',  $\lambda$  41° 15', 220 mt, 0 ч. 40 м.  
23 — VIII.

Из-за льда драгажных работ не было.

Станция 20-bis.  $\varphi$  77° 57',  $\lambda$  40° 35', 315 mt, 4 ч. 15 м.  
23 — VIII.

Станция была сделана сейчас же по выходе из пловучего льда. Драга с параллельными ножами. Шестифутовый тралл Сигсби —"

.....

Эти станции — за тысячу верст к северу от полярного круга, в штормах, во льдах, без пресной воды, в холоде — были единственной целью экспедиции в Арктику для Николая Лачинова, ее начальника. Николай Лачинов считал, что делает это для того, чтобы через два года, вернувшись с холодов, в Москве, после суматошного дня, после ульев студенческих аудиторий, человеческих рек Тверской и лифтов здания на Сретенском бульваре — пройти тихим двором старого здания Первого московского университета, войти в зоологический университетский музей и там сесть в своем кабинете — к столу, к микроскопу, к колбам и банкам и к кипе бумаг. — В кабинете большой стол, большое окно, у окна раковина для промывания препаратов, — но кабинет не велик, пол его покрыт глухим ковром, а стен нет, потому что все стены в полках с колбами, баночками, банками, банкищами, а в баночках, банках и банкищах — фиуры, декаподы, асцидии, мшанки, губки, — морское дно, все то, что под водой в морях, — все то, что надо привести в порядок, чтоб открыть, установить еще один закон — один из тех законов, которыми живет мир. Каждый раз, когда надо отпереть дверь, — вспоминается, — и когда дверь открыта, — смотрит из банки осьминог, надо поставить его так, чтобы не подглядывал. — Это пять часов дня. От холодов, от трюсов, от цынги — в отличие от брата Александра — пальцы рук Николая Лачинова узловаты. Но часы будут идти, полки с банками пыльны и — сначала стереть пыль, отогреть вар,

раскупорить банку, промыть Decapoda'y — пинцеты, ланцеты, микроскоп — тихо в кабинете: и новые записи в труде, который по-русски начинается так:

„60 станций экспедиции 1914 г. охватывают огромный район. Конечно, сами по себе работы экспедиции недостаточны для того, чтобы говорить о фауне и биоценозах Северных морей во всей полноте, тем более, что они еще не обработаны окончательно.

Однако на основании их мы можем наметить, хотя бы в целях программных и рабочей гипотезы, некоторые большие естественные „районы Северных морей“ — что звучит по-немецки, в другой папке: —

Die Expedition im Jahre 1914 hat 60 Stationen erforscht. Letztere sind auf der Weite des Weissen-, Barenz- und Karischen Meeres. Das zoologische Material, welches während dieser Expedition gesammelt wurde, giebt uns das Recht, die eben erwänten Nördische Meere in gewisse Regionen einzuteilen“ —

Николай Лачинов писал свою работу сразу на двух языках, это так: но море Баренца у Земли Франца-Иосифа и Карское море позади Новой Земли, куда раз в пять лет могут зайти суда, невероятную Арктику, тысячи верст за полярным кругом — он называл только северными морями, никак не Ледовитым Океаном, — точно так же, как, когда океан у восьмидесятого градуса бил волной и льдами, когда Николая Лачинова било море и до судорог мучила темнота и даже команда балдела от переутомления и моря, Лачинов говорил, не вылезая из своей каюты, не имея сил встать: — „как, разве плохая погода?“ — и спардэк на корабле он называл чердаком, а трюм и жилую палубу — подвалом. — Но он твердо знал прекрасную человеческую волю познавать и волиять. И часы в кабинете с микроскопом шли так же медленно и упорно, как они идут на Шпицбергене, и Никитская и Моховая за стенами отмирали на эти часы, безразлично, была ли там осень и фонари ломались в лужах, или шел снег, укравший звуки и такой, от которого Москва уходит на де-

сятки градусов к северу и на три столетия назад в глубь веков, — Декарда устанавливала законы. — А в девять в дверь стучали, приходил брат-двойник Александр, здоровался, говорил всегда одно и то же, — „ты работай, я не помешаю“; — но через четверть часа они шли по Моховой, в Охотный ряд, в пивную, выпить по кружке пива, поговорить, послушать румын; тогда за окнами шумихою текла река — Тверская, и было видно — осень ли, зима ль, декабрь иль март. Все это Николай Лачинов заменил революцией.

В Судовой Роли было записано рукою Лачинова, начальника экспедиции —

„Научное снаряжение экспедиции —

По гидрологии —

Батометров разных систем. . . . . 6 шт.

Лот с храпом, трубки Бахмана, глубомеры Клаузена, вьюшки Томпсона, шкалы Фореля, диски Секки, аппарат Киппа, и пр., и пр. ... в достаточном количестве.

По биологии —

Микроскопов разных. . . . . 20 шт.

По метеорологии —

Специальное оборудование и приспособления для зимовки во льдах —

Охотничье снаряжение —

— Экипаж экспедиции —

— Задание экспедиции —”

От Александра Лачинова осталась только одна запись, сделанная в Арктике.

„Слышать, как рождаются айсберги, — как рождаются вот те громадные голубые ледяные горы, которые идут, чтобы убивать и умирать по свинцовым водам и волнам Арктики: это слышать гордо! И это можно слышать только раз в жизни, и только одному человеку на десятки миллионов удастся услышать это. И я не случайно беру глагол слышать: едва ли позволено человеку это видеть, как рождаются айсберги, как раскалываются глетчеры, — ибо человек заплатил

бы за это жизнью. Я это слышал и тогда в том громе и тумане мне показалось, что я слышу, как рождаются миры. — Это — за полторы тысячи верст к северу от полярного круга. — И я могу рассказать о том, что было в Европе, в России в начале Четвертичной эпохи, когда со Скандинавского полуострова ползли на Европу глетчеры, ледники, когда были только вода, небо, камень и льды, и холод, и страшные ветры, такие, которые снежинками носят камни с кулак и с голову человека: я это видел здесь в тысячах верст, — здесь, в Арктике, я видел страшные льды, льды, льды, тысячи ледяных верст, страшные ледяные просторы, — воду (вот ту, предательски-соленую, неделями плавая по которой, можно умереть от жажды, и такую прозрачную, почти пустую, сквозь которую на десяток саженей видно морское дно), — горы (огромные, скалами базальтов и холода, и ледников идущие из моря и изо льдов), — небо, вот такое, с которого в течение почти полугода не сходит солнце (я видел солнце в полночь!), и которое полгода горит Полярной звездой, — причем Полярная стоит в зените, — причем на полгода дня и на полгода ночи — за туманами, метелями, дождями, за всеми стихиями холода, вод и земли, в сущности, надо скинуть со счетов счет на солнце и звезды, оставив счета на извечные мрак, холод, льды и снега. Здесь не живет, не может жить человечество. Мы, покинув „Свердруп“, были у острова Фореланд, здесь мы жили, здесь умерло пять моих спутников: на этом острове — на памяти культурного человечества — до нас обследовала остров только одна экспедиция, Ноторста, в 1896 году, — здесь нет человека, здесь не может жить человек, — когда Ноторст высаживался на берег, на шлюпку напала стая белых медведей, занесенных сюда льдами и здесь оголодавших. — Мне — никогда не уйти отсюда. Море, эти десятки дней в безбрежности и мои бреды, мои бредовые яви и явные бредни” —



„Свердруп“ вышел из Архангельска 11 июля 1914 года, — вышел из черных июльских ночей, чтобы под семидесятым градусом прийти в белую арктическую ночь, в многонедельный день, когда небо в полночь темно — н о ч н о е н е б о — только на юге. „Свердруп“ стоял у Банковской набережной, потом его отвели на рейд: — потом он ходил на Баккарицу за углем, угля взял до отказа, под углем были и пагубы, по фальшборты. Экспедиция задержалась на пять дней: Москва не выслала к сроку посуду — колбы, баночки, банки, банкищи, бидоны. Николай Лачинов, в морских сапогах до паха, в кожаной куртке и в широкой, как зонт, кожаной поморской шляпе, с можжевелевой тростью в руках, с утра и весь день ходил — на телеграф, в береговую контору, на таможню, — в половине пятого он обедал в деловом клубе, выпивал три бутылки пива и шел в гавань, кричал в сгустившиеся сумерки: — „Со „Свердрупа“, — шлюпку!“ — уходил к себе в каюту и сидел там один с бумагами и счетами. Ночами в те дни поднималась луна, большая, как петровский пяточок, — Лачинов выходил на капитанский мостик и тихо разговаривал с вахтенным офицером, рассказывая ему, сколько и каких колб, банок и жбанов необходимо ждать из Москвы. — Часть научных сотрудников была занята уборкой, свинчиванием, прилаживанием для моря инструментария. Физик, профессор Шеметов, метеоролог Саговский, врач Андреев и Александр Лачинов ездили осматривать Холмогоры и Денисовку, где возник Ломоносов, ездили на взморье к Северо-Двинской крепости, построенной Петром I. Дни стояли пустые, призрачные, солнечные, тихие, — радио приносило вести, что Арктика покойна. — Команда все свободное время проводила на берегу, главным образом в пивных. 9-го пришла посуда, отвал назначен был на 12 часов 10-го, и команда и научные сотрудники всю ночь провели на берегу в притонах. С утра команда возвращалась на четвереньках, и в половине двенадцатого выяснилось, что главный механик захворал белой горячкой, ловил в машинном чертей. Механика ссадили на берег, скулы Лачинова посерели и обтянулись кожей еще крепче, — задержались на

сутки, еще сутки команда лежала костями на спирте. В 3 часа 11-го отгудел последний гудок, таможенный чиновник вручил путевые бумаги, взял выписку для береговой конторы, проводил до Чижевки.

Флаг подняли еще с утра, включили радио, — военный тральщик отсалютовал — „счастливый путь“ — и пьяная вахта долго путалась во фляжках, чтобы отсалютовать — „счастливо оставаться“. Архангельск ушел за Соломбалу. Новый механик стоял у борта, боцман из шланги поливал ему голову, — боцман мыл палубу, механик плакал о жене, оставленной на берегу. Радист принял первое радиоприветствие из Москвы и весть о том, что у Канина Носа шторм в 8 баллов. — „Свердруп“ уносил на себе тридцать восемь человеческих жизней, тридцать восемь человеческих воль. Было тридцать семь мужчин и одна женщина, химичка Елизавета Алексеевна Волчкова так не похожая на женщину, что матросы очень скоро приладились — и при ней и ее — обкладывать „большими“ и „малыми“ морскими „узлами“; — она была из тех женщин, которых, как утверждал Александр Лачинов, родят не матери, а университетские колбы, для коих они и живут; богатырственная, сильнее и выше любого матроса со „Свердрупа“, она стояла на спардэке у вельбота и плакала навзрыд, прощаясь с землей. Слезы текли по сизому румянцу щек, точно она вымылась и не утерлась, — кэпка съехала на затылок. Около нее стоял метеоролог Саговский, маленький, как гном, в фетровой шляпе, в демисезонном пальто английского покроя, в желтых ботинках, точно он отправлялся на пикник, — он курил трубку и говорил:

— Бросьте, Елизавета Алексеевна! Самое большое проскитаемся год. Вы знаете, если установить причины циклонов и антициклонов, которые возникают в Арктике, — тогда можно сказать, что вопрос о предсказании погоды почти решен. Если бы мы знали, какое давление сейчас, какая температура, сколько баллов ветра — ну, хотя бы на нашем меридиане под 80-м градусом, мы могли бы знать, какая погода будет в России через две недели —

Сумерки наполнили медленно и безмолвно, на створах вспыхнули огни. „Свердруп“ — двухмачтовое, деревянное, парусно-моторное пятисоттонное судно, построенное по планам нансеновского „Фрама“, свинчивался, затихал, мылся перед морем. Пьяные ушли по каютам. Мудюгский маяк отгорел сзади, впереди возник Знаменский, — впереди было море. —

И тогда „Свердрупу“ суждено было еще раз вернуться к земле, к родной земле — последний раз. — Если человеку, живущему на земле, придется когда-нибудь услышать вызов радио — S. O. S., — пусть он знает, что это гибнут в море чело-вечи души, страшно гибнут в этой страшной чаше вод и не-ба, где внизу сотни метров морских мутей и квадрильоны метров вверху — бесконечностей, и больше ничего. S. O. S. — это пароль, который кидает радио в пространство, когда гибнет судно, и он значит: „— спасите нас, спасите наши души!“ — В вахтенном журнале „Свердрупа“ возникла следующая запись:

#### А К Т

„12 июля 1914 года, мы, нижеподписавшиеся, капи-тан э/с „Свердруп“, Алехин Павел Лукич, и капитан и владелец парусного судна „Мезень“, Поленов Марк Андреевич, в присутствии начальника Русской Поляр-ной Экспедиции Лачинова Николая Кирилловича, со-ставили настоящий Акт о нижеследующем: 11 авг. в 23 часа 30 мин. в  $65^{\circ}04' N$  и  $39^{\circ}58'0'' W$ , идя компас-ным курсом  $N 39$ , общая поправка 10, э/с „Свердруп“ наскочил на шедшее с грузом рыбы в Архангельск под полной парусностью при ветре NW силою в 1 балл, при видимости за темнотой ночи от 30 до 40 саженей п/с „Мезень“, ударив его форштевнем в правый борт про-тив форвант. При ударе получился пролом, от которо-го парусник начал наполняться водой и погружаться, ложась на левый борт. Команда „Мезени“ перешла на „Свердрупа“ в момент столкновения по бушприту, капитан же перешел на „Свердрупа“ в тот момент,

когда через несколько минут „Мезень“ надрейфовала на нос „Свердрупа“, причем последовал легкий вторичный удар. После этого „Свердруп“ отошел назад, была спущена шлюпка и послана команда со штурманом Медведевым для осмотра „Мезени“ и выяснения способов спасения. По прибытии шлюпки было решено, по просьбе капитана „Мезени“, подойти к ней и взять ее на буксир бортом; в это время „Мезень“ постепенно ложилась на левый борт. При подходе, вследствие темноты и дрейфа, „Мезени“ был нанесен „Свердрупом“ третий удар, в корму, причем „Мезень“ уже лежала на левом борту. Видя, что взять бортом на буксир „Мезень“ невозможно, Свердруп“ подошел к ней кормей и начал шлюпкой завозить на нее буксиры, которые были закреплены за правый становой якорь „Мезени“. В 0 час. 40 мин. 12 авг. была закончена заводка буксиров и начали буксировать „Мезень“ по направлению к пловучему маяку Северо-Двинский. В момент, следующий за столкновением, на п/с „Мезень“ огней нигде, кроме окон кают-компании, не было видно, и этот огонь был виден, пока „Мезень“ не погрузилась в воду. На „Свердрупе“ никаких повреждений не оказалось. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах и записан на страницу Вахтенного Журнала „Свердруп“.

Экспедиционное судно „Свердруп“ свинтилось, убралось, шло в море, чтобы месяцы не видеть ни людей, ни человеческой земли, маяк отгорел сзади, люди, после бестолочи Архангельска, расползлись по каютам и притихли. Александр Лачинов долго стоял у кормы, смотрел, как из-под винта выбрасывались светящиеся фосфорически медузы: от них эта черная ночь, ночной холод, беззвездное небо, ветер, тишина просторов и плеск воды за бортами были фантастичны, медузы возникали во мраке воды, всплывали вверх и вновь исчезали в мути, погасая. Потом Лачинов пошел в кают-компанию, многие уже ушли спать. Потому что судно было отрезано на месяцы от мира, было колбой, из которой ни-

куда не уйдешь. Александру Лачинову все время казалось, что все они здесь на судне — как в зиме в страшной провинции, где никто никуда ни от кого не уйдет и поэтому надо стремиться быть дружественным со всеми и за всех, и забыть все, что не здесь. В кают-компании перед вахтой в полночь сидел второй штурман Медведев, остряк, играл на гитаре. Кинооператор Обопынь, точно такой, какими судьба судила быть кинооператорам, разглагольствовал о разных системах киноаппаратов. Механик мотал очумевшей головой, ничего не понимая. — И тогда все услышали отчаянный человеческий крик, и толчок, и треск, и то, как осел „Свердруп“, и как он дернулся с полного хода вперед на полный назад. Кто-то пробежал мимо в одном белье. Александр Лачинов и все, бывшие в кают-компании, побежали на бак. Ночь была темна и холодна, беззвездна, и ветер шел порывами. Во мраке перед носом „Свердрупа“ стоял корабль, повисли над „Свердрупом“ белые паруса, уже обессилевшие. И из мрака, из-за борта „Свердрупа“ на бушприте появились человечьи головы людей, молодых и стариков, обезумевших людей, которые плакали и кричали, — орали все вместе, одно и то же, безумно: —

— Что вы делаете, ааая? Что вы делаете?!.. —

Люди толпились раздетые; горели прожекторы, в клочья разрывая мрак, отчего мрак был только сильнее — и нельзя было понять, кто приполз из-за борта, от смерти кто — раздетый — прибежал с жилой палубы. Кто-то скомандовал полный назад, стоп, полный вперед, — во мраке под парусами гибнувшего парусника, в свете прожекторов, бегал, как бегают кошки на крыше горящего здания, человек, махал руками, орал так, что достигало только одно слово — „под либорт! под либорт!“ — ныл радиоаппарат, — и тогда ударил вновь „Свердруп“ в борт парусника, и с ловкостью кошки возник из-за борта в свете прожекторов новый человек, бородатый старик, и из разинутой пасти летели слова: — „черти! черти! черти! голубчики! — под либорт, под либорт! берите!“...

А во мраке гибла белая шхуна, повисли бессильно паруса, клонились к воде. Ни одного огня не было на шхуне и только мирно, по-зимнему горела семилинейная лампенка на корме в кают-компани. Вскоре узналось, что старик, влезший на „Свердруп“ последним, — капитан парусника, что он сорок семь лет ходит по морям, четырежды погибнул — и четыре громадных креста стоят на Мурмане около сотен других, поставленных в память спасения от смерти в море; — и что судовую икону — Николу-угодника, — которой благословил отец сына сорок семь лет назад — Николу успел взять с собой капитан /это обстоятельство настоятельно просил капитан Поленов внести в Акт, и поклялся при всех, что пятый поставит крест он у себя в Терибейке, на Мурмане/; — что „Мезень“ выдержала пятидневный шторм, „держали бурю“, и тут, переутомленные, в затишье заснули, проспали вахту, — а „Свердруп“ был пьян: тысячи верст просторов, сотни верст направо и налево, и вокруг, — и надо же было двум суднам найти такую точку в этих просторах, чтобы одному из них погибнуть. Гудело радио, нехорошо, сиротливо. Белые паруса „Мезени“ легли на воду, — и до последней минуты горела, горела сиротливым огнем в кают-компани на „Мезени“ керосиновая семилинейная лампенка.

Александр Лачинов чувствовал себя весело и покойно, но руки чуть-чуть дрожали. И самым страшным ему был огонек в кают-компани на паруснике, этот домашний, мирный огонек, точно по осени в лесной избушке, — этот огонек бередил своей неуместностью. Лачинов думал, что, если бы он прочел в книге об этой страшной ночи, когда в ветре и мраке никто не спал, а старики-поморы, которые появились из-за борта, плачут от лютого страха смерти, — об этом паруснике, который на глазах, вот с лампенкой в каюте, затонул и повалился на борт, — вот о той лодке, которую „Свердруп“ спускал на воду и которая пошла к тонущему судну, а ей кричали, чтоб осторожней, чтобы не затянуло в воронку, если корабль пойдет ко дну, — если бы Лачинов прочел это в книге, ему было бы холодновато и хорошо

читать, и он отлично сыграл бы роль капитана. Лачинов стоял у борта, в воде возникали и меркли фосфорические медузы, начинало чуть-чуть светать, „Свердруп“ шел к берегу. К Лачинову подошел Саговский, сказал:

— А у меня новый друг появился. Смотрите, какой кошечка славный. Его штурман Медведев привез с „Мезени“, — в руках у него был котенок. — Перепугались?

— Нет, не очень, — ответил Лачинов. — Смотрите, какая медузья красота, — но, — вот тот огонек у кормы у меня все время смешивается со скверненьким, маленьким человеческим страхком! —

— А мы можем послать еще по письму, мы идем к берегу, — сказал Саговский. — Я уже написал.

— Нет, я никому ничего не буду писать, — ответил Александр Лачинов.

— — —

... А потом было море, в труде и штормах. Шторм бил семнадцать дней.

Еще в горле Белого моря встретил шторм. „Свердруп“ по 41-му меридиану шел на север, к Земле Франца-Иосифа, с тем, чтобы сделать высадку на Кап-Флоре, в этой Мекке полярных стран, где дважды повторилось одно и то же, когда гибнущий Нансен, покинувший свой „Фрам“, встретил на Кап-Флоре англичанина Джексона, — и когда гибнущий русский штурман Альбанов, покинувший далеко к северу от Земли Франца-Иосифа гибнущую, затертую льдами „Анну“ Брусилова, два месяца шедший по плывущему льду на юг к Земле Франца-Иосифа, ушедший с „Анны“ с десятью товарищами и дошедший до мыса Флоры только с одним матросом Кондратом /ибо остальные погибли во льдах/, — встретил на Кап-Флоре остатки экспедиции старшего лейтенанта Седова — уже после того, как Седов, в цынге, в сумасшествии, с револьвером в руках против людей, на собаках отправился к полюсу и погиб во льдах.

Начальника экспедиции Николая Лачинова — одного из первых свалило море („море бьет“) , но он выползал на каждой станции из своей каюты, серый, бритый, с обесцвеченными губами, — лез на спардэк, стоял там молча и, если говорил, то говорил только одну фразу:

— Мы делаем такую работу, которую до нас не делало здесь человечество, — мы идем там, где до нас не было больше десятка кораблей! —

Через каждые шесть часов — через каждые тридцать астрономических минут — на два часа были научные станции, и семнадцать дней — до льдов — был шторм. Жилая палуба была в трюме, в носовой части корабля; все было завинчено, люки были закупорены; судно — влезая на волны и скатываясь с них — деревянное судно — скрипело всеми своими балками и скрепами; судно шло уже там, где вечный день, и в каютах был серый сумрак. Люди, по-двое в каюте, лежали на койках, когда не работали, в скрипе и духоте. На судне было привинчено и привязано все, кроме людей, — и все же не было торчка, с которого не летело бы все: люди, лежа в койках, то вставали на ноги, то вставали на головы: — качая, кренило на — больше, чем на  $45^{\circ}$ , ибо больше не мог уже показывать кренометр, сошедший в капитанской будке с ума. Сначала были ясные, упругие, синие дни под белесосиним небом (ночью неба не было, а была муть, похожая на рыбью чешую и на воду) , — потом были метели, такие метели, что все судно превращалось в ком снега, — потом были туманы, и тогда спадал ветер. И кругом были небо, вода — и больше ничего в этих холодных просторах. Иногда ветер так свирепо плевался, так гнал волну, что „Свердрупу“ приходилось вставать, идти полным ходом против ветра, рваться в него — и все же ветер гнал назад. Ветры были нордовые и остовые. Семнадцать дней подряд только рвал ветер, выл ветер, свистел ветер — и катила по „Свердрупу“ зеленая волна.

Если стоять на капитанском мостике, где всегда в рубке у руля два вахтенных матроса и штурман, и смотреть оттуда на судно, — мертво судно; вот выполз на палубу метеоролог



Саговский, полез на бак, к метеорологической будке, качнуло, обдало водой, и Саговский ползет на четвереньках, по кошачьи, лицо его сосредоточенно и бессмысленно, и на лице страх, — но вот еще качнуло, и ноги Саговского над головой, и он топорщится, чтобы не ползти вперед, а пиджак его залез ему на голову, — и потом Саговский долго мучится у метеорологической будки, запутав ногу в канате, чтобы не слететь. — Одним из первых слег Николай Лачинов, потом повалились все научные сотрудники, предпоследним свалился Александр Лачинов, последним Саговский; первый штурман хворал, „травил море“; кают-компания опустела, хворал и стювард. Нельзя было ходить, а надо было ползать; нельзя было есть, потому что не хотелось и потому что ложка проносилась мимо рта, и потому что все тошнилось обратно (матросы требовали спирта); нельзя было умываться, потому что воды до лица не донесешь, не до мытья и — стоит только выйти на палубу, как сейчас же будешь мокр, в соленой воде, которая не моет, а саднит сбитые места. Нельзя было спать, потому что раза четыре за минуту приходилось в постели становиться на голову и за постель надо было держаться обеими руками, чтобы не вылететь. И над всем этим — этот — в этих мертвых просторах визг, вой и скрип, которым визжало, выло и стонало судно, — такой визг и скрип на жилых палубах в трюме, в котором пропадал человеческий голос. — Через каждые тридцать астрономических минут — через каждые тридцать морских миль по пути к северу — приходил на жилую палубу из штурвальной вахтенный матрос, стучал в двери кают и орал, чтобы перекричать скрип и вой:

— На вахту! Кто в очереди? Через пятнадцать минут станция! — На вахту! —

В половине восьмого утра, в двенадцать дня, в четыре дня, в восемь вечера на жилую палубу приползал и бил в гонг к чаю, обеду, кофе, ужину стювард, — но столы в кают-компании были похожи на беззубые челюсти стариков, где одиноко торчали штурмана, механик и Саговский, — гонг

бессильно надрывался на жилой палубе. И через каждые четыре часа от полночи отбивала вахтенная смена склянки. И часы обедов, и часы вахт — были астрономически условны в этих неделях белесой мути.

Кинооператор Обопынь, которого всего истощило, который стал походить на смерть, просил, чтобы ему дали револьвер, чтоб он мог застрелиться. Доктор говорил о морфии. Зоолог — он замолчал на все дни; Александр Лачинов, который был с ним в одной каюте, наблюдал, как он провел первые пять суток: он лежал на четвереньках на койке, подобрав под себя голову и ноги, держась руками за борта, — пять дней он не вставал с койки и не сказал ни слова; потом он уполз из каюты и два дня пролежал у трубы на спардэке, это были дни метели. — Лачинов зазвал его в каюту, он пришел, лег, — вскочил через четверть часа и больше уже не возвращался в каюту — до льдов, когда качка прошла, — он говорил, что он не может слышать скрипа жилого трюма, скрип ему напоминал о его „страстях“: тогда, пять первых суток на четвереньках, он ждал смерти, боялся смерти! — скрип трюма напоминал ему те мысли, которые он там передумал, — он не любил об этом говорить. Александр Лачинов видел со спардэка, как Саговский пошел к своей будке, — качнуло, окатило водой, — и человек стал на четвереньки и пополз, и лицо его исказилось страхом. —

„Свердруп“ шел вперед, на румбе был норд —

— на жилую палубу пришел вахтенный матрос, дубасил в двери, кричал:

— На вахту! Кто в очереди?

Встали в половине первого ночи. Стальное небо, снег, ветер, все леденеет в руках. Гидрологи, трое, в том числе Александр Лачинов, поползли на корму, кинули лот, триста метров. Потом стали батометрами брать температуру и самое главное воду с разных глубин: триста метров, двести, сто, пятьдесят, двадцать пять, десять, пять, ноль; температуру с поправками записывали в ведомости, воду разливали по бутылкам; химик в лаборатории определял состав воды,

ее насыщенность кислородом, прозрачность. Батометр надо нацепить на трос, опустить в глубину, держать там пять минут, — и потом выкручивать вручную трос обратно: плечи и поясница ноют. Гидрологи кончили работу в половине четвертого, пошли по каютам обсыхать — загремела лебедка, бросили тралл. Второй раз скомандовали на вахту в 11 дня, снега не было и был туман, — кончили в час дня, пошли по каютам, обсыхать. В половине восьмого вечера опять пришел вахтенный матрос, задубасил, заорал:

— На вахту! Кто в очереди? —

и тогда к начальнику экспедиции пошла делегация, половина экипажа научных сотрудников не вышла на работу. Николай Лачинов один сидел на спардэке около трубы, руки он спрятал рукав в рукав; губ у него не было, ибо они были землисто-серо-сини, как все лицо; он горбился и его знобило, и он смотрел в море. К нему на спардэк приползли научные сотрудники, впереди полз профессор Пчелин, не выходящий из каюты с самого Канина Носа; сзади ползли младшие сотрудники; люди были одеты пестро, еще не потеряли вида европейцев, еще не обрели самоедского вида; все были злы и измучены. Профессор Пчелин, без картуза, в меховой куртке и брюках на выпуск, поздоровался с Лачиновым, сел рядом, поежился от холода и заговорил:

— Николай Кириллович, меня уполномочили коллеги. Никаких работ в такой обстановке вести нельзя, мы все больны, это только трата времени, — мы предлагаем идти назад, — и замолчал, ежась.

Николай Лачинов смотрел в море, медленно пожевал безгубыми своими губами, тихо сказал:

— Пустяки вы говорите. Тогда не надо было бы и огород городить, — понимаете, — городить огород? Все в порядке вещей — море, как море.

— Тогда высадите нас на Новую Землю в Белужью губу, — сказал Пчелин. — Ведь мы все перемерем здесь.

— Конечно, в Белужью губу, — ну ее к черту, вашу экспедицию, профессор Лачинов — закричал, толкаясь вперед, кинооператор Обопынь.

Николай Лачинов все смотрел в море, тихо сказал:

— Пустяки вы говорите. Идти вперед необходимо. Что же, вы будете целый год жить у самоедов?

— Станции мы делать не будем, не выйдем на вахту. Мы все больны! Смотрите, какая качка. Мы не можем!

Накатила волна, судно накренилось, покатались брызги, — кинооператор Обопынь полетел с ног, пополз к борту, заорал в страхе:

— Ну вас всех к черту, — ведь он, сволочь, виляет, как сука... в Белужью губу!

— Ну, разве это сильная качка? — спросил Лачинов.

— Да это уже не качка, а шторм! Мы станции делать не будем, мы не можем!

— Тогда отдайте приказ, чтобы стали отштормовываться. Станцию сделать здесь необходимо, будем ждать, когда море ляжет. Меня самого море бьет не хуже вас. Выкиньте меня за борт, тогда делайте, что хотите —

От этого разговора в экспедиционном журнале осталась только одна запись:

„Станция 18.  $\phi$ 76°51',  $\lambda$ 41°0', ? mt, 5 ч. 0 м. 22 — VIII.

„Станция пропущена ввиду сильного шторма. Ветер — 6 баллов, волнение — 9, судно клало на волну на 45”.

На румбе был норд.

В этот день выяснилось, что радио „Свердрупа” уже никуда не достигает, рассыпаясь, теряясь в той тысяче с лишком верст на юг к полярному кругу, что осталась позади „Свердрупа”. Ночью штормом сорвало антенны, утром их натягивали заново, матросы лазили по вантам, качаясь в воздухе над морем, — и, когда натянули, радиист начал шарить радиоволнами в просторах: просторы молчали, безмолвствовали.

Так простилась земля со „Свердрупом”. Александр Лачинов в этот день свалился от моря. Он ходил в радиорубку. Из радиорубки он шел лабораторной рубкой, тут никого не было, тогда он услышал, как в метеорологической лаборатории кто-то говорит вполголоса, утешая, — Лачинов подо-

шел к двери и увидел: на корточках сидел Саговский, протягивая руки под стол, и говорил:

— Ну, перестань, ну, не мучься, милый, — ну, потерпи, — всем плохо.

— С кем это вы? — спросил Лачинов.

— А я — с кошечкой, с Маруськой, — ответил Саговский. — Ведь никто про кошечек не позаботится, а их море бьет хуже, чем человека. Я тут под столом картонку от шляпы приспособил, сажаю туда котишек по очереди, чтобы отдохнули немного в равновесии. Совсем измучились котешки! —

И Лачинов понял — самый дорогой, самый близкий ему человек — в этих тысячах верст — этот маленький, слабый человек, метеоролог Саговский: вот за этих котят — к этим котяткам и Саговскому — сердце Лачинова сжалось братской нежностью и любовью. Лачинов подсел к Саговскому, сказал — не подумав — на ты:

— Ну-ка, покажи, покажи —

и вдруг почувствовал, как замутило, закружилась голова, пошли перед глазами круги, все исчезло из глаз, — и тогда послышались в полусознании нежные, заботливые слова:

— Ну, вставай, вставай, голубчик, — пойдём, к борту пойдём, я отведу, смотри на горизонт, я подожду, — иди, милый! — и слабые, маленькие руки взяли за плечи. — Мне, думаешь, легко? — я креплюсь!.. —

У борта в лицо брызнули соленые брызги. — За бортом этой колбы, которая звалась „Свердруп“, плескалась и ползала зеленая, в гребнях, жидкая муть, которая зовется водой, но которая кажется никак не жидкостью, а — почти чугуном, такой же непреборимой, как твердость чугуна, — чугунная лирика страшных просторов и страшного одиночества, — тех, кои за эти дни путин ничего не дали увидеть, кроме чаек у кормы корабля, да черных поморников, да дельфинов, да двух китов, — да — раза два — обломков безвестных (погибших, поди, разбитых, — как? когда? где?) кораблей... — Впереди небо было уже ледяное, уже встречались отдельные льдины, в холоде падал редкий снег, была

зима. — Слякка пробила полночь. Александр Лачинов, большой и здоровый человек, взглянул беспомощно, — беспомощно, бодрясь, улыбнулся.

— Пустяки, — вот глупости! —

Саговского матросы прозвали — от него же подхватив слова — Циррус Стратович Главпогода, — Циррус сказал заботливо:

— Ты не стесняйся, вставь два пальца в рот — и пойдешь лежать, глаза закрой и качайся... Вот придем на землю, я всем знакомым буду советовать гамак повесить, залечь туда на неделю и чтобы тебя качали, что есть мочи семь дней подряд, а ты там и пей, и ешь, и все от бога положенное совершай!... А то какого черта... —

Лачинов улыбнулся, оперся о плечи Цирруса и медленно пошел к трапу на жилую палубу. — На жилой палубе пел арию Ленского кинооператор Обопынь: он был когда-то оперным актером и теперь, когда его не тошнило, пел арии или рассказывал анекдоты и о всяческой чепухе московского закулисно-актерского быта. Лачинов задержался у двери, опять замутило, — кинооператор лежал, задрал ноги, и орал благим матом, штурман с гитарой сидел на койке. — „А вот артист Пикок“, — начал рассказывать кинооператор. Лачинов также знал эти — пусть апельсиновые — корки московских кулис и подумал, что Москва, вон та, что была в тысячах верст отсюда, — только географическая точка, больше ничего. — Лачинов, бодрясь, шагнул вперед, вошел в каюту доктора, стал у притолоки, сказал:

— Сейчас отбили слякку, полночь, на палубе светло, как днем. — В Москве — благословенный июльский вечер. На Театральной площади нельзя сесть в трамвай, женщины в белом. У вас на Пречистенке в палисадах цветут астры, и за открытым окном рассмеялась девушка, ударив по клавишам. Полярная звезда где-то в стороне. Вы пришли домой... — Вы не знаете, какой сегодня день, вторник, воскресенье, пятница? — Впрочем, Полярной мы еще не видели, мы только по слякке узнаем о полночи. — В театре... —

Доктор лежал на койке головою к стене, от самого Канина Носа он не раздевался и почти не вставал — лежал в кожаной куртке, в кожаных штанах и в сапогах до паха, — доктор, с лицом, как земля, и заросшим черной щетиной, медленно повернулся на койке и медленно сказал:

— Вы получите сапогом, если будете меня деморализовать! — доктор говорил, конечно, шутя, — конечно, серьезно.

— Театры еще... — начал Лачинов и замолчал, почувствовав, что подступило к горлу, закружилась голова, пошли под глазами круги и — все исчезло —

... Лачинов бодрился все дни, ходил в кают-компанию, обедал, работал, в досуге забирался на капитанский мостик, где всегда велись нескончаемые разговоры о море, о портах и гибелях. На капитанском мостике в рубке штурман Медведев рассказывал, как он тонул, гибнул в море, — он, юнгой, ходил на трехмачтовом промысловом паруснике, на его обязанностях лежало, когда поморы шли из Тромсэ и пили шведский пунш, стоять на баке и орать, что есть мочи — „ай-ай-ай! — вороти!“ — чтобы не наткнуться в ночи на встречный пьяный парусник; и этот трехмачтовый парусник погиб; — Медведев помнил бурю и помнил, как капитан погнал его лезть на бизань и там — рвать, резать, кусать зубами, но — во что бы то ни стало — сбросить парус, и бизань-мачта обломилась; больше ничего не помнил Медведев и утверждал, что в море гибнуть не страшно, ибо его нашли на третий день на обломке мачты с окоченевшими руками; он ничего не помнил, как три дня его носило море; от погибшего судна не сыскалось ни одного осколка; — тогда были дни осеннего равноденствия, дни штормов, и еще принесло к берегу стол и сундук, и к столу была привязана женщина: с судна в море на шлюпке ушла команда; капитан не бросил своего судна; капитан привязал свою жену к столу, потому что она металась обезумевшей кошкой по судну; и капитан стал молиться Николе-угоднику, морскому защитнику; — больше женщина ничего не помнила: гибнуть в морях не страшно, — а от судна, с которого спаслись сундук, стол и женщина, не осталось ни человека, ни щепы...

О Лачинове. — Тогда, там, в географической точке, которая зовется Москвой, только за три дня до отъезда в Архангельск он узнал об экспедиции брата, и в три дня собрался, чтобы ехать, — чтобы идти в Арктику, — чтобы сразу разрубить все те узлы, что путали его жизнь, очень сложную и очень мучительную, потому что и по суше ходят штормы и многие волны былинками гонят человека, и очень мучительно человеку терять свою волю. В этой географической точке, которая зовется Москва и которую легче всего представить — астрономически — пересечением широт и долгот (потому что здесь в море только так означались путины), остались театр, дела, друзья, борения, ночи, рассветы, жена, усталось, тридцать пять лет жизни, роли, тщеславие, — и все время — в страхе — представлялась пустыня сентябрьской российской ночи, волчи российские просторы, дребезг вагонных сцеплений, поезд в ночи, купэ международного вагона, где он один со своими мыслями, — и поезд шел в Москву, а там, впереди во мраке, возникали зеленоватые огни Москвы; и все двоилось — один Александр Лачинов стоял у окна в купэ международного вагона и мучился перед Москвою, — другой Александр Лачинов с астрономических высот видел и эту пустыню ночи, и поезд в ночи, и Москву, и темное купэ, и человека — себя же — в купэ у окна; и тот, и этот — один и тот же — думал о том, что в Москве, на Остоженке навстречу выйдет безмолвная и ждущая жена, а на столе у телефона лежит десяток ненужно-нужных телефонных номеров, и ни жена, ни телефоны — страшно ненужны. — Здесь, на „Свердрупе“ можно было быть одному, самим собою, с самим собой, перервать всего себя, все перевзвесить. Надо было слушать склянки и гонг к еде, надо было выходить на вахту, надо было делать работу и жить интересами людей — такую, такими, о которых никогда в жизни не думалось, — в чемодане были письма Пушкина, Дон-Кихот и путешествие Гулливера, — это чужая жизнь, — но свои виски уже поседели, уже поредели, и кожа на лице, должно быть, деформировалась, привыкнув к гриму и бритве, — и от времени, от встреч,



от людей, от привычки, что за тобою наблюдают, — такая привычно-красивая манера ходить, говорить, руку жать, улыбаться, — а где-то там, за десятком лет, перед славой сохранился такой простой, здоровый и радостный человек, богема-студент, сын уездного врача, выехавший когда-то из дому в Москву, в славу, да так и застрявший в дороге, потерявший дом. — Ветер в море все перешаривал, до матери, до детства, — и было страшно, что ветер ничего не оставлял. — Самое мучительное в шторме было то, что надо было все время напрягаться, напрягать мышцы, чтобы не упасть, не свалиться, надо было напрягать волю, чтобы помнить о качке, — в койке, засыпая, надо было лечь так, чтобы быть в койке, как в футляре, чтобы не ездить по койке, чтоб упираться ступнями и головой в подложенные по росту вещи, чтоб держаться руками за борта койки, — чтобы трижды в минуту вставать на голову. Нельзя было есть, потому что тошнило и стыдно было бегать к борту „травить море“. Надо было упорною волей сутки разбить не на двадцать четыре, а на восемь часов, сделав из человеческих — трое здешних суток. И скоро стало понятно, что ноги поднимать трудно, трудно слышать, что говорит сосед, — что в голову вникает стеклянная, прозрачная, перебессонная запутанность и пустота, и кажется, что лоб в жару, и мысли набегают, путаются, петляют — запуганными зайцами и океанской кашей волн, когда ветер вдруг с норда круто повернул на ост. И тогда с физической отчетливостью ясно, мысли остры, как бритва: вот, койка, над головою выкрашенная белым, масляною краской, дубовая скрепа, — электрическая лампа, — пахнет чуть-чуть иодоформом или еще чем-то лекарственным (после дезинфекции перед уходом в море), — балка идет вверх, встает дыбом, балка стремится вниз, — рядом внизу какая-то скрепа рычит, именно рычит, перегородка визжит, — дверь мяукает, — забытая, отворенная дверь в ванную ритмически хлопает, — пиликает над головой что-то — дзи-дзи-дзи-дзи!.. надо, надо, надо скорее сбросить с койки ноги, и нет сил, надо, надо бежать наверх, кричать — „спасай-

тесь, спасайтесь!” — но почему вода не бежит по коридору, не рушатся палубы, когда совершенно ясно, что судно — гибнет! — гибнет! — и почему никто не кричит? — ну, вот, ну, вот, еще момент, — вот, слышно, шелестит, булькает вода. — И тогда так же остро: „— что за глупости? Ерунда, — я еще долго буду жить! Глупо же, ведь нет же никакой опасности!” — И тогда, мучительно, неясно:

— Москва — театр — роли, женщины — слава... Нет, ничего не жалко, ничего нет!.. Нет — нет, жизнь моя милая, лозиночка, ты прости, ты прости меня, — все простите меня за жизнь: я бесправно ее ограбил! Жена — работа — слава: — нет... Ты прости меня, жизнь! Не то, не то, не так! Славы — не надо, не то, я же в ряд со всеми ползаю на вахты, меня никто не заставляет, меня никто в жизни ни разу ничего не заставлял. Работа — да, я хочу оставить себя, свой труд, себя — таким, как я есть, как я вижу. Это же глупость, что море убьет, а ты, жизнь, прости! Ты и работа — только!.. Ах, какая ерунда — Москва!..

У Александра Лачинова не было никаких дел на „Свердлупе”. Он поплыл в Арктику, чтобы отойти от себя и от своих дел. Это он двоился, чтоб — на себе же, не только на соседях — наблюдать каторжную муку качки. И это у него загорелось нежностью сердце, когда Циррус возился с кошками. — Но ноги подкашивались от утомления, и там — у кошек — первый раз затошнило, замучило, замутило, когда — хоть в воду, хоть к черту, хоть в петлю, — лишь бы не мучиться!.. — И тогда в полночи — на койке — качалась, качалась переизученная скрепа над головой, в белой масляной краске, — хоть в воду, хоть к черту, лишь бы не вставать на голову, лишь бы не понимать, что в голове окончательно спутаны мозги, бред, ерунда!

На судне было тридцать восемь человеческих жизней, и одна из них была — женскою жизнью. Но химичка Елизавета Алексеевна не походила на женщину, — ее совсем не било море, она работала лучше любого матроса, она гордилась своей силой, она всем хотела помочь, — и, если сначала

матросы не стеснялись при ней пускать большие и малые узлы, то скоро стали крыть ими ее — за ее здоровье и силу, за ее охоту помочь всем, — за ее желание всем нравиться: мужчинам было оскорбительно, что женщина сильнее их в мужских их качествах, что у нее так мало качеств женских; но когда матросы уж очень изобижали ее, она плакала при всех, громко и некрасиво.

30 августа „Свердруп“ вошел во льды. Льды, ледяное небо были видны с утра, и к полночи кругом обстали ледяные поля и айсберги, страшное одиночество, тишина, где кричали лишь изредка редкие нырки и люрики, полярные птицы, да мирно и глупо плавали стада тюленей, с любопытством поглядывавших на „Свердрупа“, медленно поворачивавших головы на человеческий свист. Качка осталась позади, все отсыпались, мылись, чистились, как к празднику, крепко спали. Утром уже кругом было ледяное небо и кругом были льды. „Свердруп“ лез льдами. Капитан был на мостике, на румбе был норд, лицо капитана было ноябрьским, Николай Лачинов сидел у трубы. Утром на жилой палубе был шопот: ночью залезли во льды, в ледяные поля так, что едва нашли лазейку оттуда, и у капитана с Николаем Лачиновым был ночью разговор, где капитан заявил, что он не в праве рисковать жизнями людей, а льды, если затрут, могут унести „Свердрупа“ хоть к полюсу и, во всяком случае, в смерть; — на румбе остались и север и льды. — Ночью была станция, от двух до пяти; легли спать осенью, в дожде, в мокроти, — проснулись зимой, в метели: — в полдень солнце резало глаза, мир был так солнечен и бел, что надо было надеть синие очки: в это солнце впервые после Канина Носа определились, — где, в какой астрономической точке „Свердруп“, секстан — показал  $78^{\circ}33'$  сев. широты на  $41^{\circ}15'$  меридиане. Люди первый раз после Архангельска были за бортом: вылезали на льды, ходили с винтовками под карауливать тюленей. Тюлени плавали стадами и по ним без толку палили из ружей. Мир исполнен был тишиной и солнцем. — Ночь была белесой, прозрачной; переутомление,

которое проходило, смешало какие-то аршины, люди бродили осенними мухами, натыкались друг на друга, говорили тихо, дружелюбно и на „ты“. Кругом ползли айсберги необыкновенных, прекрасных форм, ледяные замки, ледяные корабли, ледяные лебеди. Отдых от качки принимался благословением и праздником. — „Свердруп“ втирался к ближайшему айсбергу, чтобы взять пресной воды, — и опять люди ходили на лед; надо идти ледяным полем, идешь-идешь — полынья, — тогда надо подтолкнуть багром маленькую льдинку и переплыть на ней полынью, а если полынья маленькая, надо прыгать через нее с разбегу, отталкиваясь багром. Кинооператор Обопынь и Александр Лачинов ходили на айсберг фотографировать, — лезли по нему какие-нибудь пять саженей с час, залезли — Александр Лачинов редко видел такую красоту, внутри айсберга пробило грот, там было маленькое зеленое озерко и туда забивались волны, свободные, океанские, голубые... Под айсбергом и под людьми на нем были соленые воды океана, глубиною в версту. — И опять наступила пурга, повалил снег, пополз туман. — И новым утром на румбе был ост, а на жилой палубе говорили, что капитан снял с себя ответственность за жизни людей — и эту ответственность принял на себя начальник экспедиции Николай Лачинов. Что за разговоры были между капитаном и начальником доподлинно никто не знал, но утром капитан, не спавший все эти дни, сидел в кают-компании и молча пил спирт, и молча сидел перед ним Николай Лачинов, и все матросы были пьяны. „Свердруп“ крепко трещал во льдах — Никто из экипажа научных сотрудников не знал, никто из непосвященных не знал, что эти дни во льдах были опаснейшими днями: два матроса нижней команды, два матроса верхней команды, боцман, плотник, механик, первый штурман, капитан и начальник — бессменно, бессонно, корабельными крысами, с электрическими лампочками на длинных проводах рылись за обшивками в трюме, ползали в воде меж балок, спускались под воду к килю, а донки захлебывались, храпели, откачивая бегущую в трюм воду, — чтобы

заплатать, забить, заделать пробоину в корпусе, чтоб, ползая на животах, на четвереньках, лежа на спинах — спасать, спасти, спастись. Николай Лачинов приказал молчать об этом — и приказ матросам подтвердил наганом. Николай Лачинов и капитан имели крупный разговор; капитан сказал: — „назад!“ — Николай Лачинов сказал: — „вперед!“. Разговор был в капитанской рубке, Николай Лачинов жевал безгубыми губами, смотрел в сторону и тихо говорил: „Все это пустяки. Судно исправно. Мы пойдем на ост, выйдем из льдов и пойдем на норд, по кромке льда. Льды не могут быть сплошные“, — лицо Николая Лачинова было буденно и обыкновенно, как носовой платок, — и капитану было очень трудно, чтоб не плюнуть в этот носовой платок.

И эти ледяные сотни верст, ушедшие в океан убивать и умирать, остались позади. И опять были штормы. Приходили дни разноденствия, и невероятными красками горел север, то огненный, то лиловый, то золотой, — и тогда вода и волны горели невероятными небывальными красками, — но небо только на юге, только на юге было предательски-ночным. Секстан был ненужен, бессилен за тучами и туманами, и судно шло только лачком и компасом, — наугад, в туманах.

И был туманный день — такой туман, что с капитанского мостика не видны были мачты и бак, — клаузен всплывал уже дважды, — капитан скомандовал в лебедку пустить пар, боцман пошел, чтобы отдать якоря, — чтобы перестоять туман. И тогда вдруг колыхнулся и пополз туман! — и вдруг — так показалось, рядом, в полуверсте, можно было видеть простым глазом, — над туманов возникли очертания огромных, понурых гор, — туман пополз и в четверть часа впереди открылась — земля, горы, снег, льды, льды, глетчеры, — холодное, пустое, понурое, мертвое. Но опять на вершины гор пополз туман — не то туман, не то облака, — и повалил снег. До берега было миль семь. Снег перестал, „Свердруп“ пошел вперед в эту страшную понурую серую щель между тучами и свинцовой зеленоватой водой. На баке вахтенный матрос мерил глубины лотом. Это была первая земля после

Архангельска. Это была Земля Франца-Иосифа, — но что за остров этого архипелага, что за бухта, что за мыс, быть может, никем еще не обследованный, никем еще не виданный, такой, на котором не ступала еще человеческая нога, — об этом никто никогда на „Свердрупе“ не узнал. — Здесь пришли три первых человеческих смерти, — зоолога, того, что боялся смерти, второго — штурмана и третьего — матроса.

„Свердруп“ бросил якоря в миле от берега. Александр Лачинов видел в бинокль, что, если ад, да не православный, который, прости-Господи, немного глуповат, а аскетически-строгий ад католиков сдан в заштат и не отапливается, то пол в аду должен был бы быть таким же, как камни здесь на берегу, такой же мучительный, потому что базальты стояли торчком, огромными сотами, на которых надо рвать ногти — и камни были такой же окраски, как должны они были бы быть в аду, точно они только что перегорели и задымлены сажей, они стояли точно крепостные, по-старинному, стены. (Александр Лачинов вспоминал этот пейзаж на Полюдовой горе, разговаривая с Ядвигой Фелициановной.) И в бинокль было видно, что было в Европе в начале Четвертичной эпохи, когда были только льды, туман, холоды, камни — и не было даже за облаками неба. Были видны облака на горах, горы черные — красновато-бурые, как железо, — зеленая вода, — и прямо к воде сползал глетчер. — Опять повалил снег и прошел. Со „Свердрупа“ спустили шлюпку, — штурман, матрос и с ними зоолог отправились на берег, на разведку. Шлюпку приняла волна, закачала, понесла, — и скоро она стала маленькой точкой. И тогда опять поползли туманы, поползли справа, как шоры, медленно заволакивали все долинки, воду, вершины — этой желтой, студеной мутью, — и остров исчез, как возник, в тумане. Тогда „Свердруп“ стал гудеть, первый раз после настоящей человеческой земли, чтобы указать оставшимся на берегу, где судно, — и минут на пять не угасало в горах и в тумане эхо. И тогда — через туман — повалил снег, и сразу налетел ветер, завыл, заметался, засвистел, — туман — не пополз, —

побежал, заплясал, затыркался, — ветер дул с земли, снег повалил серыми хлопьями величиною в кулак, — и снег перестал, и туман исчез, — и остался только ветер, такой, что он срывал людей с палуб, что якорные цепи поползли по дну вместе с якорями, — что нельзя было смотреть, ибо слепились глаза, и ветер был виден, синеватый, мчащийся. „Свердруп“ ревел, призывая людей с берега. И тогда увидели: от берега к „Свердрупу“ шла шлюпка, ей надо было пройти наперерез ветру — ее поставили прямо против ветра, — и все трое на веслах гребли в нечеловеческих усилиях, изо всех сил. На „Свердрупе“ знали: если не осият, не переборят ветра, — если пронесет мимо „Свердрупа“, — унесет в море, — гибель. И капитан заволновался первый раз за всю путину. Все были на палубе. Видели, как трое корчились на шлюпке, боролись с волнами и ветром, видели, как шлюпка влезала на волны, падала в волны, — разбивалась волна и каждый раз предательски захлестывала за борт зеленой мутью брызгов. Капитан кричал: — „Вельбот, на воду! Медведев с подвахтой — на воду! На тросе, на тросе, — готовь трос!“ — и в машинное: — „средний вперед!“ — и на бак к лебедке: — „поднимай якоря!“ — Ветер был виден, он был синь, он рвал воду и нес ее с собой по воздуху, и вода кипела. „Свердруп“ пошел наперерез, навстречу шлюпке. — Со шлюпки доносились бессмысленные крики. И на шлюпке сделали непоправимую ошибку: зоолог бросил весла и стал картузом откачивать из шлюпки воду, — на „Свердрупе“ видели, как подхватил ветер шлюпку, как понесли ее волны по ветру: штурман повернулся на шлюпке, хотел, должно быть, сказать, чтоб тот сел на весла, иль обессилил: шлюпка завертелась на волнах бессмысленно, бесцельно, потерявшая человеческую волю, — шлюпка была совсем недалеко от носа „Свердрупа“, она стремительно неслась по ветру, — она прошла совсем под носом „Свердрупа“, — и тогда стало ясно: люди погибли, их уносило море. И остальное произошло в несколько минут: „Свердруп“ крейсировал, чтобы пойти вслед, — развернулся — и шлюпка была уже далеко, превратилась в точку, и в би-

нокль было видно, что в шлюпке остался один человек — и еще через минуту все исчезло. — И капитан же, тот, что волновался больше всех, скомандовал понуро и покойно — „полный!“ — шлюпку унесло на ост, — капитан окриком спросил: — „на румбе?“ — „Есть на румбе!“ — ответил вахтенный. — „Зюйд-вест!“ — крикнул капитан. — „Есть зюйд-вест на румбе!“ — „Так держать!“ — и „Свердруп“ пошел в море, чтобы не погибнуть у земли самому.

И „Свердруп“ пришел к новому острову. Эта земля была последней землей, куда пришел „Свердруп“, — культурное человечество не знало об этой земле, она не была открыта, — она была осколком островов Уиджа. — Она, невидная простым глазом, возникла в бинокле. Солнце во мгле чуть желтело, вода вблизи была стальной — и синей, как индиго, вдали; льды, ледяные поля были белы, в снегу, айсберги сини, как эмаль... — Там, вдали, в бинокль восставал из ледяных гор огромный каменный квадрат, одна сплошная скала, обрывающаяся в море и льды, вся в снегу, и снег под солнцем и в бинокле был желт, как воск, блистал глетчер, черными громадами свисали скалы, — все одной громадной глыбой, наполовину освещенной солнцем, другою половиной, серой, уходящей за горизонт и во мглу. Кругом судна были горы айсбергов. Земля безмолвствовала и величествовала, как никогда в жизни каждого: земля, эти метровые скалы и льды, где никто, кроме белых медведей и птиц не жил, не живет и не может жить, — величественна, промерзшая навсегда, навсегда мертвая, такая, которая никогда, никогда не придет в подчинение человеку, которая вне человечества и его хозяйничаний. Александр Лачинов думал, что в каждом человеке все же крепко сидит дикарь: эти земли, эта пустыня, эта мертвь — прекрасны, здесь никто не бывал, — так прекрасно и страшно видеть, изведать и знать п е р в ы й р а з ! — Застрелили во льду, все были на палубе, капитан на мостике, штурмана по местам, на юте, на баке, у руля. Прошли уже часы, и земля впереди видна простым глазом, до нее каких-нибудь тридцать миль, — веяла холодом, морозами,



величием и тишиной. Лед, ледяные поля обстали вокруг сплошную стеной. Тюлени смотрят из воды удивленно, целые стада. Земля видна ясно, и непонятно, как забраться на нее: она вся в снегу и льдах, и льды отвесами падают в воду... — Земля!... К земле „Свердруп“ пришел в 0 часов 10 минут. Всю ночь на севере стояла красная, как кровь, никогда не виданная заря, от которой мир был красен. Вода была красной, лиловой, черной, зеленой: потом, за день и за ночь, вода была и как бутылочное стекло, и как первая листва, и как павшая листва, и лиловая всех оттенков, и коричневая, и синяя. А небо было — и красным, и бурым, как раскаленная медь, и сизым, как вороненая сталь, и белым, как снег, и розовым, как розы, — и в полночь ночное небо — темное — на юге. Понурая земля лежала рядом, горы, глетчеры и снег, — и в извечной тишине кричали на скалах, на птичьем базаре — птицы, словно плачет, стонет, воеет, рвет горечью и болью — нечеловеческими! — земля свое нутро, точно воеет под земелье, нехорошо!.. — „Свердруп“ отдал якорь в полночь. Александр Лачинов, кинооператор Обопынь, врач, метеоролог и два матроса — они сейчас же пошли на шлюпке к берегу, чтобы впервые вступить на ту землю, на которую не ступала еще нога человека. Они были вооружены винтовками, в полярных костюмах, — прибором долго не давал возможности пришвартоваться, — и сейчас же на берегу, на снегу они увидели следы медведя. Они пошли группой, молча. Было очень тихо, мертво горели север и небо. Они слезли на косе, на отмели, вдалеке от гор, и перед ними восстали колонны базальтов, которые с борта казались величиной в табурет, но оказались в хороший двухэтажный дом; они стояли, словно крепостные, по-старинному, стены, точно окаменевшие гиганты-соты, нет, не бурые, а как заржавленное железо. Влезли на них, и под ногами началось адово дно: камни, черного цвета и цвета перегоревших железных шкварков (что валяются у доменных печей), лежали так и такие, что по ним надо ходить в железе и лучше ползать на четвереньках; в иных местах эти камни размещались в

порядок, словно земля родит каменные яйца, по-прежнему черные, величиной в человеческую голову. В лощинах были озерки с пресной водой, во льду: отряд ломал прикладами лед, чтобы пить. И отряд наш ел и избушку. Они нашли избушку на косе, на юру, вдали от гор, где был только один смысл устроиться жить: это — чтобы быть елико возможно больше в и д н ы м с моря, воды пресной там поблизости не было. Давно известно, что все северные моря изборожжены русскими поморями и что Шпицберген был известен на Мурмане под именем Грумант — за четыреста лет до того, как его открыл Баренц, и что на многих островах разбросаны безвестные поморские часовни, — но эта избушка была не русской, — там жил, должно быть, норвежец, — судя по этикетке на табачной коробке и по аптечной надписи на пузырьке (и эта коробка от сигар указывала, что здесь жил не зверолов-норвежец, а кто-то иной, ибо он курил сигары, а не трубку). Избушка была развалена, она стояла на камнях, она построена была из тонкого теса, как строят р у б к и н а к о р а б л я х, снаружи она была обложена камнем. Крыши на ней уже не было, не было одной стены. Все было развалено и разбито — чем? как? — Валялись кое-какие домашние вещи, штаны, стояла печурка из чугуна, около нее кресло из плит базальта; были нары из дерева, в стену воткнуты были вилка и столовый нож, осталась на столе солоница, с порыжевшей лужей соли. Ни запасов, ни пороха не было. И все было разбито: совершенно бессмысленно, — кто-то ломал в припадке сумасшествия, или это ломал не человек, — а если человек, то он был вчера здоров и жил буднями, а утром сошел с ума и стал громить самого себя, — самого себя, дом, забыв в стене нож и солоницу на столе... Вокруг избушки были разбросаны боченки, обручи, утварь, кастрюли, консервные банки, два весла, топор, — и было вокруг много костей разных животных, медведей, моржей, тюленей, белух: и одна кость была костью человеческой н о г и, так определил врач. Кости лежали около ящиков, стоявших в тщательном порядке. Ни одной приметы о сро-

ках и времени не было, когда здесь жили: три, тринадцать, двадцать лет назад?.. Кости!.. — Потом отряд в мусоре нашел с а м о д е л ь н о е р у ж ь е: оно было сделано, вырублено топором из бревна, и ствол был — из газонапорной трубы. Этого острова не знало культурное человечество, — отряд обыскал все и не нашел ни одной пометы, какие обыкновенно оставляют все приходящие в эти страны. Кругом камни и льды, и море, — полгода ночи и полгода дня, десять месяцев зимы и два месяца русского октября. Отсюда никуда не крикнешь, и — кто был здесь? кто разгромил избушку — медведи, буря, человек? — как? — здесь погиб человек, о котором никто ничего не знает, погиб, не успев ничего оставить о себе, чтобы его и о нем узнали, — человек, спасшийся от аварии и построивший себе избушку из остатков судна и добывавший себе мясо, чтобы не умереть, самодельным, сделанным с помощью топора самострелом с дулом из газонапорной трубы. Кругом избушки — кости и смерть, обломки бочек, остатки костей. Оттуда, из избушки слышно, как плачет скала птичьего базара, точно воет подземелье и сама земля рвет себя. Горы стоят серые, скалы нависли хмуро, грузно, гранит и базальт, мертво наползает глетчер. У цынготных, за несколько дней до смерти, появляется стремление — б е ж а т ь, их находили умершими на порогах, — на Кап-Флоре медведи разгромили избушку, оставленную Джексоном — должно быть, из любопытства: никто ничего не знает о том человеке, что погиб в этой избушке, никогда не узнает, — как погиб он? как возник он здесь?

„Свердруп“ набирал здесь пресную воду, в вельботах возили ее с берега, все ходили на вахту по наливке воды, спускали воду из озера шлангой, носили ведрами, — спешили, чтобы уйти отсюда на юг, в Европу, — не спали и отсыпались по тринадцать часов подряд, — убили моржа и двух медведей, — тюленей не считали, — за обедом пили спирт и на жилой палубе устраивали странные концерты: один умел петь петухом, другой мычал бараном, третий хрюкал по-свинячьи, лаяли собаки, мычали коровы, — всем было ве-

село; воды набрать осталось только для котлов. — Геолог пропадал в горах в поисках минералов, — ботаник собирал лишайники и мхи, в его лаборатории на стенах и столах ткались прекрасных красок ковры, красивей, чем из Туркестана. И радиист впервые изловил неведомое радио. Радио достигало слабо, ничего нельзя было понять, неизвестно было, кто посылал радио — земля ли или пароход, — уже недели „Свердруп“ был отрезан от мира, и часами плакали антенны „Свердрупа“; новые приходили радио, разорванные, на норвежском языке, непонятные, — и тогда пришло радио, четкое, по-немецки. В радио говорилось:

„Все время вызывает неизвестное русское судно, идущее, по-видимому, от полюса — место стоянки судна неизвестно — содержание телеграмм установить не удалось“ — говорила радиостанция Шпицберген —

Все эти дни были пасмурны и тихи, море чуть-чуть зыбило, льды, ледники и снег были серы, как сумерки. Круглые сутки возили воду, — люди надрывались с водой и спали все часы отдыха, только. Была полночь, — и тогда с моря загудел ветер, завыл в такелаже, заметал волны, повалил снегом. Ночное — черное — небо было на юге. На берегу кричала вахта, махая веслами, ведрами, шапками, — на судне скрипели якорные цепи. Капитан вышел первым на палубу, он дал авральный сигнал, команда бросилась на места, все на палубу: „Свердруп“ полз на берег — на „Свердрупа“ напоздали льды, горы, ветер ревел, рвал людей. Капитан давал сигналы в машинное — „полный! полный! полный!“ — сматывали цепи якорей, бросали траллы, бросили на тросе лебедку, — чтобы зацепиться за дно, чтобы не ползти на берег. Ветер выл, ломился, неистовствовал. Горы ползли на „Свердрупа“. И тогда треснула и поднялась корма, — судно остановилось, — судно стало на кошку: и из машинного сейчас же дали сигнал — авария — машины буксуют — винт и руль сбиты, — а еще через минуту судно повернулось по ветру, и, уже без руля, без винта, с оборванными якорями, легко поползло на берег. Можно было уже не считать, как оно тыкалось

с кошки на кошку, трещало и ломалось. — Потом оно стало, легко у берега, так близко, что с оставшимися на берегу можно было разговаривать простым голосом. И тогда только люди заметили, что у иных сорвана кожа рук, что все мокры, что шквал уже прошел, что на часах уже далеко за полдни. Капитан бросил шапку (она покатилась по палубе, ставшей боком, скатилась в воду), прислонился к вельботу и заплакал. Откуда-то появился — дошел до сознания всех — Николай Лачинов, он был в одних подштанниках, босой, скула его была разбита до крови, — он спросил у своего брата Александра папиросу, закурил и медленно сказал, как ни в чем не бывало, глядя в сторону:

— Да, знаете ли... Пустяки, — будем здесь ночевать год. Да, знаете ли!.. — и обратился к капитану: — Павел Лукич, команду я беру на себя, да. Все пустяки! Вы посмотрите на часы, мы все-таки боролись четырнадцать часов.

И через час, — это был уже отлив, и „Свердруп“ лежал почти на берегу, — были положены уже сходни, и люди тащили с судна на берег все, что можно было стащить — мешки, тюки, доски. Николай Лачинов, тщательно, осторожно, как у себя в университетском кабинете, переносил баночки, колбы, инструментарию и материалы лабораторий. Работали все весело, очень поспешно, недоумело, чересчур бодро. Матросы топорами расшивали рубки, — механик и радист прилаживались, чтобы снести на берег динамомашину и радиоаппарат, и у них ничего не выходило. „Свердруп“ лежал бессильною рыбой, брюхом наружу, — мачты свисли ненужно. На берегу уже растягивали временные палатки из парусов, и повар на костре готовил ужин. А к ночи после ужина, в палатках, а кое-кто еще на „Свердрупе“ в незалитых каютах, — заснули все: первый раз после Архангельска заснули на земле, без вахты, непропудным, земным сном. И только один Николай Лачинов, должно быть, не спал, потому что с утра он разбудил часть людей, послав их на вахту, определив две вахты на день, — а когда те пошли тащить остатки судна на берег, он лег и заснул около своих

баночек. Через неделю от „Свердрупа“ на воде остался один лишь костяк, а на берегу против него — неподалеку от безвестных развалин избушки — были построены две русских избы и амбар. Эту неделю люди молчали и только работали. Кругом были море и горы, — горы стали серые, скалы нависли хмуро, грузно, гранит и базальт, мертвю полз глетчер, — и плакала, плакала, стонала скала птичьего базара. Еще через неделю все было ясно и изучено — и горы, и море, и моржевые лежки — и то, что радио поставить возможности нет, что мир отрезан, предупредить никого нельзя, — и то, что всем, если все останутся живы, придется умереть от голода, к весне, ибо запасов не хватит. Дни равноденствия быстро сворачивали солнце, ночами прямо над головой горела Полярная и шелестели голубые шоры полярного сияния, — к остаткам „Свердрупа“ можно было уже ходить по льду, льды в бухте остановились, смерзались, море от „Свердрупа“ сокрыла большая ледяная гора: ночью льды и земля казались осколком луны, ночами у изб наметало снег и видны были песцовые следы, а на льду от „Свердрупа“ были видны следы крыс, перебиравшихся со „Свердрупа“ на землю, чтобы утвердить что не всегда первыми с тонущего судна спасаются крысы. Днем работали: спиливали мачты, расшивали палубы, рубили дрова, готовили ловушки для песцов, обстраивали, достраивали избы. Вечерами все собиравались по избам. В одной из изб все стены были в полках, в колбах, банках и инструментарии, — здесь жили Николай Лачинов и Шеметов, — Николай Лачинов предлагал всем научным сотрудникам продолжать вести свои научные работы, и днями он сидел у микроскопа, — эта изба называлась лабораторией. В другой избе жили все и ели, и вечерами, сидя на полатах, штурман Медведев играл иной раз одесского Шнеерзона. Катастрофически на „Свердрупе“ не оказалось ламп, и избы сначала освещали коптилками, потом механик изобрел нечто вроде керосино-калильных ламп, делал их из термометровых футляров (а через год, когда вышел весь керосин, освещались тюленьим жиром). Про-

фессор Шеметов читал для матросов курсы географии и физики. Мир был отрезан, скалу птичьего базара никто уже не замечал...

На Шпицбергене, уже после похода по льдам, на Шпицбергене, куда дошел только Александр Лачинов, оставивший на острове Николая Лачинова своего брата Николая, за окном из этого мира в бесконечность уходили столбы северного сияния. Завтра уйдет пароход на юг, — завтра уйдет Могучий на север. Виски пили с утра. Лачинов стоял у окна в домике инженера Бергринга — как ласточкино гнездо, смотрел на горы за заливом, — и хрипел граммофон. И тогда заговорил Могучий — женщина! — каждый звук этого слова скоро наполнится густою кровью, тою, что билась в висках и сердце у этих четверых, — и не могло быть лучшей музыки, чем слово — женщина —

— Женщина! Все экспедиции, где есть женщина, — гибнут, — гибнут потому, что здесь, где все обнажено, когда каждый час надо ждать смерти, — никто не смеет стоять мне на дороге, и мужчины убивают друг друга за женщину, — мужчины дерутся за женщину, как звери, и они правы. Я оправдываю тех, кто убивает за женщину. Четыре месяца я проживу один, в избушке, где второму негде лечь, — четыре месяца я не увижу никакого человека, — и я все силы соберу, я сожму всю свою волю в кулак, чтобы не думать о женщине, — но она вырастет в моих мыслях в гораздо большее, чем мир!.. Могучий замолчал, заговорил негромко: — Ну, говорите, вот она вошла, вот прошуршали ее юбки, вот она улыбнулась, вот она села, и башмак у нее такой, ах, у нее упала прядь волос, и шея у нее открыта, — ну, говорите, ну, говорите о пустяках, о том, что я про себя должен сказать — „я вошел“, а она сказала бы — „я вошла“. Она положила ногу на ногу, она улыбнулась — что может быть прекрасней?! — Экспедиции гибнут, да! — Мой друг, промышленник, на берегу провел ночь с женщиной, наутро он ушел, сюда, — и он нашел у себя в кармане женскую подвязку: он не кинул ее в море, и он погиб, — он погиб от цынги целую подвязку...

Женщина! — ведь он же знал, как завязывается каждая тесемка и как расстегивается каждая кнопка, — и вот: — где-то во льдах, их десятеро и одиннадцатая она, и двенадцатый тот, кому она принадлежит, — за льдиной сидит человек с винтовкой, один из десятерых, и навстречу к ней идет двенадцатый, и пуля шлепнула его по лбу... — Ну, говорите, ну, говорите же, как она одета, как расстегиваются ее тесемки...

— Да-да, да-да, — заговорил в бреду Лачинов. — Знаете, остров моего брата, — мне стыдно слушать... Я год шел льдами: я все брошу для нее. Неправда, что нельзя думать о ней: я шел во льдах и не умер только потому, что она умерла — это единственное в жизни...

Лачинова перебил Могучий: — „Ну, говорите, ну, говорите, как она улыбнулась? — глядите, глядите, какая у нее рука!..“

И тогда крикнул Бергринг: — „Молчать, пойдите на воздух, выйдете нашатырю, вы пьяны! не смейте говорить, — вы завтра идете на север! —“ Глан стал у дверей, руки его были скрещены. Могучий грозно поднялся над столом. Опять кричал Бергринг: — „Молчите, вы пьяны, идемте к морю на воздух, — иначе никто из нас никуда не уйдет завтра!“

Можно полагать, что Лачинов понял грандиозность того, как рождаются айсберги: это гремит так же громко, как когда рождаются миры...

На острове Николая Лачинова экспедицией был оставлен гурий. Грамота на пергаменте, написанная тушью, была вложена в стеклянную банку и запаена в железо. Гурий был поставлен около изб. В грамоте было написано:

„Русская Полярная экспедиция в следующих научном составе и судовой команде /идет перечисление/ на экспедиционном судне „Свердруп“, выйдя из Архангельска 11 июля 1914 года, по выходе из Белого моря, пошла на север по 41-му меридиану с непрерывными научными работами через каждые 30'. Начиная с 77° 30' с. ш. стали встречаться льды, а на 77° 52' была встречена кромка непроходимого льда, преградившего экс-



педиции дальнейший путь. Экспедиция пошла по курсу истинный NO 64°. Астрономически определиться благодаря туманной погоде возможности не представлялось. 7 сент. в тумане появилась земля, один из островов архипелага Земли Франца-Иосифа; ввиду тумана определить земли не удалось. Экспедиция была у земли только несколько часов и вынуждена была уйти в море по причине сильного шторма; на землю высаживались три человека, второй штурман Бирюков Н. П., матрос Климов В. В., и зоолог Богаевский А. К., — они погибли, так как шторм унес их в виду судна в море. От Земли Франца-Иосифа экспедиция пошла по курсу истинный SW 55, но на другой же день, 8 сент., судно встретило льды и вынуждено было дрейфовать без курса, сносимое льдами на SSW. 27 сент. с судна увидели землю, которая после астрономических определений оказалась не нанесенной ни на одну из карт, а стало быть, неизвестной культурному человечеству. Земля была названа островом Николая Лачинова. Астрономическое местонахождение земли —  $\varphi 79^{\circ} 30' N$  и  $\lambda 34^{\circ} 27' W$ . Судно стало на якорь в бухте Погибшей Избы и брало питьевую воду, предполагая пройти отсюда к Wiches Vland на Шпицбергене. Но в полночь с 29-го на 30 сент. страшным штормом судно было выкинуто на берег с непоправимыми пробоинами и заполненное водой. Экспедиция, потеряв судно, вынуждена была здесь стать на зимовку. По причине того, что продовольствия не хватило бы всем оставшимся, был снаряжен отряд в составе 22 человек из следующих лиц команды и научных сотрудников /перечисление/, научная часть под командой метеоролога Саговского К. Р.; начальником отряда назначен был первый штурман Гречневый В. Н.; по полученным впоследствии сведениям до жилого Шпицбергена из этого отряда дошел только Лачинов Александр; — остальные погибли от цынги и переутомления. Отряд ушел с острова Н. Лачинова 4 янва-

ря 1915 г., взяв с собой нарты и каяки /идет перечисление всего, что было взято отрядом/. На острове Н. Лачинова осталось 13 человек, которые охраняли собранные материалы и вели научные работы. Отряд, пошедший на Шпицберген, должен был сообщить о местонахождении оставшихся с тем, чтобы за ними пришло экстренное судно. Оставшимся пришлось перезимовать две зимы и живыми остались только двое — начальник экспедиции Лачинов Н. К., и научный сотрудник проф. Шеметов В. В. Спасательное судно „Мурманск“ пришло 11 сент. 1917 г. и остров Н. Лачинова был покинут 15 сент. Все научные материалы были забраны. В доме №2 оставлены продовольствие и огнестрельные припасы /перечисление/.

Начальник экспедиции Николай Лачинов.

Научн. сотр. экспедиции проф. Шеметов.

О. Николая Лачинова

15 сентября 1917 г.”

... Можно рассказывать долго, дни за днями, о том, как бессмысленен и страшен взгляд моржа, как кровавы его глаза, как добродушно и хитро смотрят медведи, что в апреле, когда только солнце на небе, непередаваемо болят глаза человека, как мучителен постоянный мрак зимой, о том, что профессор Шеметов установил актиничность окраски морских животных, что кожа их светочувствительна так же, как фотографическая пленка; — можно рассказать, как на палатах бесконечными ночами перерассказаны были все русские были и сказки, и случаи, как умирают люди от цынги; как Николай Лачинов продолжал работу Алпатова над *Desaroda*, точнее проследил применимость ее к условиям природы; можно неделями слушать, как шелестит полярное сияние...

Александр Лачинов шутил, что университеты, а не матери, родят иной раз людей — и женщин, стало быть. Елизавета Алексеевна Волчкова, единственная в экспедиции женщина, была такой женщиной. Ее все не любили, потому что она была некрасива, неженственна, говорить могла только о хлорах,

белках и атомах, была сильнее любого мужчины и похвалялась этой силой. Она одевалась как мужчины, в меховые штаны и куртку, волосы она стригла. Она знала — матросы ее звали моржом. Матросы знали, что она — ни разу не была любима мужчиной, она сама говорила об этом, она была хорошей химичкой. Ей было — 27, и она — она как все — чужая иной раз, как заходится кровью сердце, как немеют, путаются химические формулы в мозгу, как немеют колени — вот эти ее моржовые колени. И знала она: — только не уменье понравиться, не уменье быть женщиной заставляют ее хвалиться здоровьем и силой — к тому, чтоб понравиться. И это она обрезывала ногти гарпунеру Васильеву, и она штопала в углу, громко, когда вдруг услышала, как шутили матросы и младшие сотрудники о том, что на этой земле ни разу не было женщины, тем паче девственницы, не было свадьбы, — и надо кинуть жребий, кому быть ее мужем — во имя необычности земли и обстоятельств; — и все же, можно полагать, тогда, за стыдом и слезами, нехорошо, бессмысленно, мутно ныла ее грудь. Они жили все в одной избе, у нее был угол за печью, на нарах под полатями. Все были уравнены в правах и костюмах, и она, как все по очереди, растапливала по утрам снег, чтобы умываться, пилила со всеми дрова, слушала матросские были и небылицы, — иногда она ходила в лабораторию к колбам и препаратам. Мужчины много говорили о женщинах. Была сплошная ночь, мели метели, горели звезды и северные сияния. К утрам, определенным условно часами, углы избы промерзали, покрывались колким, звенящим инеем, большим, как серебряные гривенники. Люди спали в полярных мешках. Мужчины издевались над Елизаветой Алексеевной. Потом они перестали говорить с ней, о ней, о женщинах. И тогда она заметила, что ее ни на минуту не покидают мужчины. О ней перестали говорить, — она видела, куда б она ни шла, неподалеку от себя мужчин, и мужчины следили не за ней, а друг за другом. Но на себе она ловила упорные, бессмысленные взгляды. И ей казалось, что она погружена в сладковатую дурманящую, липкую муть,

от которой неуверенными делались ее движения, от которой часами хотелось лежать, вытянувшись откинув голову и за голову закинув руки, крепко сомкнув колени. Это было в первые два месяца, в сплошной ночи. Люди вдруг замолчали. Метели и снега по крышу заровняли дом. Николай Лачинов приходил и силой гнал вахты на работы. На „Свердрупe“ в трюме распиливали на дрова скрепы, выбивали их изо льда. Елизавета Алексеевна пилила в паре с гарпунером Васильевым. Хромой и Хрендин кидали в люк дрова на лед; Хромого позвали наружу, — Хрендин закурил и выполз за Хромым; — и тогда Васильев, бросив пилу, очень нежно, стоном, прошептал: — „Лиза“, — и беспомощно протянул руку, и беспомощно, бессмысленно приняла эту руку она, опустила голову, опустилась, села на бревно — беспомощно, бессмысленно, покорно, в той сладкой липкой мути, что так ныла у сердца; — и тогда из мрака, из-за балок, прыжками, с остановившимся лицом набросился на Васильева штурман Медведев, — он схватил его за плечи, он бросился ему на горло и стал душить, — и два человека, молча, храпя покатались по льду, душа друг друга, с остановившимися бессмысленными лицами. Она сидела покорно; сверху вниз бросились люди разнимать. Ни Васильев, ни Медведев ничего не помнили и не понимали, — иль им хотелось не помнить и не понимать, — они дружески заговорили о пустяках, покурили, стерли снегом кровь и пошли работать. Она ушла в избу, забилась молча в свой угол и лежала неподвижно там, до конца вахты. После вахты она вдруг вновь заговорила со всеми, весело, шумно, позвала идти гулять, на лыжах; пошли за нею многие, кроме профессоров и врача (у врача уже пухнули в цынке десны и ноги), у избушки, где был скат и наст, она толкнула вдруг Медведева, тот схватил ее, чтобы не упасть, и вместе они покатались вниз по снегу, а за ними попрыгали все, друг на друга, зарываясь, зарывая в снег. Тогда была луна, снег был синь, горы и глетчеры уходили во мглу, снег сыпался и звенел, — скелет „Свердрупa“ распух от инея. Играли в снежки, катались с гор, все хотели скатиться с Елизаветой

Алексеевной, все хотели засыпать ее снегом, все валяли ее в снег. Под безглагольной луной по пояс в снегу эти люди, в мохнатых одеждах, с их криками, рассыпающимися в пустой тишине, двоились синими своими тенями. Медведь влез на льдину, прислушался, присмотрелся, пошел в сторону под ветер, чтобы обнюхать; не его, а его синюю тень увидел матрос Хромой, побежали в облаву, охоту повел Николай Лачинов, вышедший для этого из избы; медведь попятился на лед, — люди прятались за торосами, обходили ропаки, медведь вырос на ледяной горе и скрылся за нею. Елизавета Алексеевна шла одна, с винтовкой. Она остановилась, посмотрела на луну, — и сразу, круто повернувшись, пошла обратно, в сторону, спряталась в торосе, легла на снег. Видел это Александр Лачинов. Вдали затрещали выстрелы, выстрелы стихли, мимо прошли двое к избе, возбужденно говорили об убитом медведе. Тогда стали кричать: — „Елизавета Алексеевна-а!“ — выстрелили, — она лежала на снегу и плакала.

Ночью, когда все спали, она услышала шопот, шептались штурман Медведев и гарпунер Васильев; Медведев сказал, и голос его прервался: — „ты разбуди ее, замани, скажи, начальник позвал, я буду у избы. Ты — первый“ — и Елизавета Алексеевна замерла, — слышала, как бесшумно скрипнула дверь, как скрипнула у стола половица, — потом все исчезло за шумом сердца: тогда она поспешно зажгла одну, две, три спички, в полуаршине от нее было лицо Васильева, оно было страшно, рот был искривлен, — но в спичечном же свете она увидела, что у печки, босой, стоит младший гидролог Вернер, с поленом в руке, что свесил ноги с палатей напротив Хрендин. Из тесного угла, из-за перегородки, хрипло и покойно сказал капитан: — „Васильев, собака, на место!“ — Капитан стал одеваться, оделся, вышел из избы. Сказал Хромой: — „По начальству пошел, доносить! Пущай, не боимся. Все равно никому не дадим бабу! Он все начальника убеждает перевести ее в лабораторию, для себя, значит!“ — Спать можно было еще много часов, но, потому что безразлично,

когда спать, ибо круглые сутки ночь, все стали одеваться. Хромой сказал: — „Васюха, твоя очередь, грей воду“. — Тогда из угла за печкой послышались рыдания Елизаветы Алексеевны и тот же Хромой полез утешать ее. — „Брось, девынька, дело такое, ты посуди, мужики ведь, сила, ты прости нас, дело такое!.. что же это мы сами-то? с ума сошли все, что ли? — ты потерпи!..“ — Подошел гидролог Вернер, товарищ Елизаветы Алексеевны по университету, взял руку — думал ли, что делает? — прижал ее руку к лицу, сказал тихо: — „Ты прости меня, Лиза, прости, любимая! Я готов за тебя отдать жизнь, прости меня!“ — С капитаном вошли в избу братья Лачиновы. Николай сказал: — „здравствуйте!“ — сел к столу, помолчал, посмотрел в сторону, заговорил, — „Ну-те, с сегодняшнего дня приступаем к работе, видите ли. С положением нашим шутить не стоит. Доктор у нас уже захворал, ну-те, по-видимому, цынгой. Приказываю разобрать по бревнам, вырубить изо льда остатки „Свердрупа“ и сложить их на берегу. Работать трехсменной вахтой, по три человека. Вахтенные начальники — я, профессор Шеметов и капитан. Весной, когда взойдет солнце, по моим чертежам мы построим большой бот и пойдем на юг под парусами. Работать предлагаю как можно усерднее, ну-те... Затем я хотел сказать до меня дошли слухи, знаете ли. — Елизавета Алексеевна, вас просил к себе Василий Васильевич, — подойдите к нему“... Николай Лачинов подождал, когда она вышла. — „До меня дошли слухи, что здесь установились болезненные отношения с Елизаветой Алексеевной. Причины, видите ли, мне совершенно ясны. Обвинять я никого не намерен, но погибнуть мы можем все, так как на этом часто сходят с ума. Единственным разумным средством было бы удалить отсюда Елизавету Алексеевну, остальное все паллиативно, — но такой возможности у нас нет (с полатей перебил Лачинова Хромой, он сказал: — „Сделать надо одно, приказать ей спать с каждым по очереди, а то мужчины перережутся, — не погибать же нам всем из-за нее одной!“ — Лачинов сделал вид, что не слышал Хромого...). Ну-те, возможности удалить

Елизавету Алексеевну у нас нет, допустить насилия над ней я не могу. Такая напряженная обстановка возбуждает ее, несомненно: если она изберет кого-либо из нас, остальные не допустят этого... Я, знаете ли, могу сообщить и заявляю об этом, что каждого, кто посягнет, — застрелю!” — Лачинов встал. — „Определите, кто в какой вахте хочет работать” —

Прошли еще недели.

Была метель, такая, когда ветер дул, как из трубы, разметал снег, ломал льды и камни, нес их вместе со снегом. Александр Лачинов говорил, что Елизавета Алексеевна рождена моржами и университетом. Метель прервала даже лабораторные работы. Хромой не переставал топить печку в лаборатории, чтобы отогнать холод.

Люди не выходили из избы, избы заровняло снегом с землей. Вахт не было. В избе были тепло, духота и мрак. На столе чадили масленки. Шеметов и Николай Лачинов играли в шахматы, один писал дневник. Александр Лачинов проснулся только перед ужином. Поужинали. Елизавета Алексеевна легла у себя в углу. На нарах Хромой рассказывал, как мальчиком он ходил на поморском паруснике: поморы, тайком от жен, в трюмах увозили с собой из Вардэ норвежских девок; и Хромой рассказывал, что делали поморы с этими девками. Елизавета Алексеевна сказала Александру Лачинову, чтобы он принес огня от масленки, закурить. Закурили оба, и Александр Лачинов сел на койку рядом с Елизаветой Алексеевной. Хромой продолжал рассказывать. Папиросы потухли, в углу было темно, известный артист Лачинов, который знал столько красивых женщин, бессильно положил руку на плечо Елизаветы Алексеевны, — сказал сонным голосом: — „А расскажи, Хромой, как ты тонул!” — „Я-то? — откликнулся Хромой, я, брат, и сам не знаю, как это я на ногах хожу и цел остался!” — Елизавета Алексеевна обеими руками взяла руку Лачинова и положила себе на грудь: под рубашкой неистовствовало сердце. Александр Лачинов склонился и поцеловал шею Елизаветы Алексеевны, она губами нашла его глаз, потом губы их слились. Руки Лачино-

ва прошарили по всему ее телу, она была покорна. Тогда Лачинов прошептал ей в ухо: — „Пойдешь со мной в горы? — никто не заметит, там,,“ — Она ответила пожатием руки. Лачинов соскочил с нар, пошел к столу, вновь закурил, весело сказал: — „Рассказывай, рассказывай, Хромой, очень интересно! Брат, сыграем в шахматы!“

Три следующие дня Александр Лачинов был возбужден, точно тайком он достал четверть спирта и пьет понемногу. С винтовкой, с топором, на лыжах он уходил в горы и пропадавал там многие часы, зверя с собой он не приносил. У двери пропала лопата. Далеко горами он обходил избы, за ропками и торосами он приходил к разваленной избушке. Тайком от всех, он прорыл около нее снег, ход завалил снегом. Однажды Александр Лачинов сказал, что идет в поход за горный перевал, взяв с собою спальный мешок, — он вернулся через сутки, заявив, что обессилел и мешок оставил на горах неподалеку.

И был такой вечер, когда Елизавета Алексеевна вышла из лаборатории, чтобы пойти в избу. Минут через двадцать после нее вышел Александр Лачинов. На лыжах, с винтовкой, он скатился на лед, — бухтой, между торосов, пошел к разбитой избушке. За ропакон показался вдруг Николай Лачинов, он шел к избам, он сказал: — „Это ты, Александр?“ — „Да, я“. — „Ты, куда собрался?“ — „Я хочу побродить немного“. — „Ты мне не одолжишь винтовку? — едва ли будет опасность“. — „Пожалуйста“, — и расстались. У края косы Александра Лачинова ждала Елизавета Алексеевна. Александр Лачинов подошел к ней, она протянула руки, она склонила голову ему на плечо, он взял ее голову, чтобы заглянуть ей в глаза, чтобы поцеловать. И рядом тогда раздался выстрел, и Александр Лачинов ощутил, что в руках у него — только осколок человеческой головы. К Александру подходил брат Николай. Два брата — близнецы — внимательно посмотрели друг на друга. Александру — артисту — показалось, что он смотрит в зеркало, в свое актерское зеркало и видит себя. Шок потряс его больше, чем катастрофа „Сверд-



рупа”. Сознание Александра Лачинова помутилось — это состояние длилось до смерти Саговского. Но в момент выстрела он был очень спокоен и не знал, сказал ли это он или его брат:

— „Я предупреждал. Вторая пуля предназначалась тебе. Никогда больше не будем об этом говорить”.

С утра начальник собрал совет экспедиции. Собрались все в лаборатории, утром. Председательствовал и говорил Николай Лачинов. — „Ну-те, всем вам понятно, что мы поставлены лицом к гибели. Этот остров до нас не был посещаем человеком, возможно, что новый человек не придет сюда еще десятки лет. Конечно, все пустяки, знаете ли. Мы умрем с голода, если мы все останемся живы до весны. Я предлагаю, знаете ли, принять мое предложение. Я не могу отсюда уйти, потому что те коллекции и наблюдения, которые сделали мы, единственные в мире, и я должен их сберечь во что бы то ни стало. Я предлагаю части экспедиции, большей части ее, идти по льду на Шпицберген, на юг, на жилой Шпицберген, знаете ли, на шахты. Это будет иметь огромное и научное значение. Те, которые в этом походе дойдут до людей, — вы дадите радио и на будущий год или через два года за мною зайдет сюда судно. Мы будем здесь вести научные работы. Путь к Шпицбергену очень труден, по моим сведениям через Шпицбергенский хребет перешли только три человека, я предлагаю мужаться. Начальником научной части я назначаю метеоролога Саговского, начальником похода — штурмана Гречневого. Надо построить нарты и каяки, все продумать и выйти недели через три, в ноябре. Вы пройдете льдами”.

Через три недели, 4 ноября в двенадцать часов пополудни, это была уже сплошная ночь, отряд в двадцать два человека пошел в поход на Шпицберген. Отряд ушел по льду в обход острова, — Саговский, Александр Лачинов и два матроса задержались на полсутки с тем, чтобы догнать отряд сокращенным путем через горные перевалы. Говорили, будто бы слышали, что Николай Лачинов передал Гречневому ре-

вольвер и посоветовал из-за больных и переутомленных не останавливать похода. Николай Лачинов несколько раз выходил из лаборатории, был молчалив и будничен, прощаясь говорил одно и то же: — „будьте здоровы, будьте здоровы“ — жал руки и деловито целовался со всеми. Братья не разговаривали друг с другом. Саговский на дорогу выпил спирта, все время шутил, пел с Медведевым, просил матросов не забывать его кошек. — Ушли эти от изб в полночь, провожать их никто не пошел. Было очень тихо, тепло, градусов пятнадцать мороза. Горели звезды, Полярная была тут, над головой. Саговский шел рядом с Александром Лачиновым, болтал всяческую ерунду, — Лачинов молчал и не слушал. Было очень невесело. У ледника встретили профессора Василия Шеметова, он гулял, расцеловались. — „Если первые будете в Москве — поклон университету“, — сказал Шеметов. — „Ну, а если вы будете вперед нас, то уж поклона не передавайте, — не от кого будет!“ — ответил Саговский. — Горы стояли впереди осколками луны, граниты, базальты, лед и снег. Решили подниматься по леднику и от незнания сделали ошибку, ибо на пол-аршина под снегом был лед и снег катился по льду вниз. Сначала ползти в гору было легко, — на полгоры, как показалось им, и на пятую горы, как было в действительности, они долезли быстро, сели закусить и отдохнуть. Полезли дальше. И дальше Лачинов помнил только о своем бреде. Он полез кромкой, где скалы сходились со льдом, рассчитывая, что там камни скреплены водою, льдом, и можно будет идти, как по ступенькам, и там есть промоина, — так первый расчет его спасал, а второй губил, — ибо другие правильно разочли, что выгоднее будет лезть по сметенному в наст снегу, ибо он должен быть отложе. Лачинов лез с винтовкой в меховых штанах и куртке, с лыжными палками в руках, лыжи тащились сзади, — и скоро Лачинов понял, что он выбивается из сил. Его спасало и спасло безразличие, в которое он впал после пули брата.

Ему начало казаться, что и до верху и до низу одинаково, и скалы базальтов внизу, что были размером в многоэтажный

дом, стали в табурет, а те, что были вокруг него и снизу казались табуретами, здесь выросли в замки. Пополз дальше на четвереньках, руки уже дрожали, — гора все круче, камни рвутся под ногами, палки в руках мешают, скользит со спины под ноги винтовка, шапка ползет на глаза, дышать нечем. Лачинов догнал Саговского, полезли вместе; те, что поползли по насту, уже далеко впереди, кажется, уже выбрались, махали отрицательно руками, кричали что-то сверху, — крика их разобрать возможности не было, — было видно лишь, что там наверху волновались. Ползли. Вползли в ущелье, выползли — и увидели, что впереди пути нет: отвес, навес над ними. Теперь было слышно, что сверху кричали, чтобы вернулись, — и люди наверху казались размером в шмеля, их едва было слышно. Саговский полез обратно, — Лачинов понял, что назад ему не спуститься, сорвется, разобьется, погибнет: если по этому отвесу что впереди, проползти, двинуться вверх и налево, с девяноста шансами сорваться, то там будет спасение. Лачинов никогда больше не переживал такого ощущения, как тогда, когда он сознавал, что действует, движется не он, а кто-то, живущий в нем, инстинкт, ловкий, как кошка, точный, как механика, хоть руки и сердце отказывались работать. Пополз, первый камень сорвался — и сразу сорвалась кожа рукавицы. Сполз сажень вниз, зацепился за камень, — пополз вбок и вперед, — тех, кто был наверху, не видно было за отвесом и сплошной отвес был внизу. Как выполз Лачинов — он не помнил. Сверху спустили веревку и вытащили уже по сплошному отвесу на скалу. — И наверху их встретил ветер, который сразу перебрал все ребра и заохолодил руки так, что они ничего не брали. Полярная была на прежнем месте, но все другие звезды опрокинулись в небе: на часах был полдень. И страшное одиночество открывалось под звездами — земли и моря, где не ступала нога человека. Вдали за перевалом в бинокль был виден огонь — там ждал отряд, туда надо было идти. Сзади в бинокль уже ничего не было видно. — В расщелине двух гор был глетчер, в глетчерных пещерах

висели сосульки в несколько человеческих ростов.

В тот день, когда ушел отряд на Шпицберген, профессор Василий Шеметов, друг Николая Лачинова, так же, как Лачинов, непохожий на кабинетского ученого и похожий на бродягу, писал свою работу о причинах цвета неба и моря. — Начало этой работы было такое:

„Когда в ясный летний день вы глядите на море, вам кажется, что синяя окраска моря зависит от голубизны неба. Однако в действительности положение вещей совсем не таково, в чем не трудно убедиться следующими примерами. Для этого достаточно сравнить, с одной стороны, насыщенный синий цвет Нордкапского течения, которое протекает в водах Полярного моря, и, с другой стороны, — бледный, зеленовато-серый цвет Азовского моря, над которым сияет яркое южное небо. Выяснением причин цветности моря занимался целый ряд ученых, начиная с Леонардо да-Винчи”.

в день когда ушел отряд Шеметов писал:

... подставляя в уравнение (1') вместо  $f_0$  и  $f$  их выражения, найдем:

$$M_0 = \frac{S_0 + N_0}{\pi} \cdot \frac{\frac{1}{4} \alpha}{\frac{1}{4} \lambda^4 + f(\lambda^4)}$$

или иначе:

$$\frac{M_0}{S_0 + N_0} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\frac{1}{4} \alpha}{\frac{1}{4} \lambda^4 + f(\lambda)} \quad \dots \dots (1)$$

Нетрудно видеть, что полученное равенство позволяет вычислить спектр того внутреннего света, который сообщает морю его характерную окраску: для этого нужно только знать  $f(\lambda)$  и  $\alpha$ .

Значение  $f(\lambda)$  для различия длин волн было получено целым рядом экспериментаторов /рис. 1, кривая №1/. Что касается значения  $\alpha$ , то его также можно определить из опыта, находя коэффициент „абсорбации“ света в морской воде“.

Ночь, арктическая ночь. Над бумагами, картами и таблицами сидит человек Николай Лачинов. На столе в плошке горит жир. И против Лачинова сидит второй человек — Василий Шеметов. Полки в полумраке поблескивают рядами склянок. На столе у плошки лежит винтовка. И Лачинов смотрит над бумагами, картами и таблицами. — „Как ты думаешь об этом, Василий? Ты меня судишь?“ — „Я не совсем понимаю, причем тут он? Во всяком случае, нужно б там оставить винтовку, — все знают, что эта винтовка была у него“. — „Я сам об этом не заговорю — все знают и мои лыжные следы, а если бы я взял чужие лыжи...“

— От отряда метеоролога Саговского осталось два человека: он, Саговский, и Лачинов. Было двадцать девятое июня. Было 29 июня, русский Петров день, вечное в Арктике солнце. Все остальные в отряде погибли в переходах по льдам и в зиме. Не оставалось ни хлеба, ни соли, — была одна коробочка спичек. Это был последний переход к Шпицбергену, это было на Шпицбергене, в Стор-фиорде, в Баллесбае: оставалось только перевалить через хребет, чтобы быть у людей. — Лачинов и Саговский лежали на льду, саженьях в пятидесяти от отвесного обрыва ледника, саженьей в пятнадцать вышиною. Каяк валялся рядом. Здесь они были уже третий день. Они были совсем у земли, у лагун на мысу, лед был зажат до самого берега и по нему было бы можно идти, если б мог ходить Саговский. Начался отлив, лед стало разводиться, — и тогда подул зюйд-вестовый ветер и скоро стал трепать. Если бы здесь были большие поля льда, беда была бы невелика: утихнет ветер, сожмется лед, только и всего. Они сидели на льдине сажени в четыре квадратных величины. И вскоре по льдине стали перекатываться волны, лед разгоняло ветром и отливом, земля попятилась назад, зыбь

пошла крутая. Идти на каяке возможности не было: его изрезало б мелким льдом. — И земля скоро скрылась в тумане. Людям делать было нечего: они завернулись в парусину, прикрылись каяком и завалились спать, — есть было нечего. Четырехсаженная их льдина ходила под ними так, что толковее ей было бы переломиться. К одиннадцати часам — к астрономическому полдню — ветер затих и лед погнало к земле. Вскоре возникла земля, льды прижало к ней: но это был уже ледник, уходивший направо и налево за горизонт. Люди были, как в мышеловке. Кругом был поломаный елкий лед вперемежку с шугой, и спереди была отвесная пятнадцатисаженная стена. Есть было нечего, и болели, слезились от света распухшие глаза. По мелко битому льду идти было некуда. Опять спали, и перед новым отливом пошли лезть на ледник. Они нашли трещину шириною в сажень. Они бросили каяк, мешки, гарпуны, секстан, все, оставили винтовки, топор и лыжи. Трещина была замечена снегом, снег покрылся коркой льда, — топором в этом снегу они делали ступеньки и забивали в него для опоры ножи; так они вылезли наверх, на пятнадцатисаженную стену. Сверху они видели, как льдина, на которой они жили, лопнула, перевернулась и лед начало отжимать от берега отливом. — На лыжах они пошли к горам, к скалам, на мысок залива, чтобы там на птичьем базаре убить гагу, чтобы есть ее сырой. Саговский едва шел, он не мог идти, у него подгибались ноги, он спотыкался и полз на четвереньках, бросая лыжи —

— и на этой земле Саговский умер от цынги. Он уже не мог ходить, он только ползал на четвереньках. Он невпопад отвечал на вопросы. Он не открывал глаз. Александр Лачинов сжег лыжи и согрел Саговскому воды, Саговский выпил и задремал, ненадолго: он все время стремился куда-то ползти, потом успокаивался, хотел что-то сказать, но у него, кроме мычания, ничего не выходило. — Солнце все время грело, на солнце было градусов семь больше ноля. Лачинов перед сном снял с себя куртку, покрыл ею Саговского, лег рядом с ним. Ночью (это был яркий день) Саговский раз-

будил Лачинова. Саговский сидел на земле, подобрав под себя ноги калачом, он заговорил: — „Александр, слушай, кошечек моих не забудь, никогда не забывай! Помнишь, как они страдали от качки? — их надо спасти, необходимо, — кошечки мои!.. Ты знаешь, если человечество будет знать, что делается сегодня под 80-й широтой, оно будет знать, какая будет погода через две недели в Европе, Азии, Америке, потому что циклоны рождаются здесь. Мои записи — никак нельзя потерять, такие записи будут впервые в руках человечества... А моя мама живет на Пресне около обсерватории. — Саговский лег, натянул на себя куртку. Когда вновь проснулся Лачинов, он увидел, что Саговский мертв и окоченел. Лицо его было покойно. И этот день Лачинов провел около трупа. На мысу, на первой террасе, руками и топором, Лачинов разобрал камни, сделал яму, — в яму положил Саговского, засыпал его камнями, присел около камней — отдохнуть. На плите из известняка ножом он начертил:

† 30 июня 1917 года.

Кирилл Рафаилович

САГОВСКИЙ,

метеоролог Русской Полярной  
Экспедиции Николая Лачинова,  
начальник отряда, пошедшего  
после аварии э/с „Свердруп“

с острова Н. Лачинова  
( $\varphi 79^{\circ}30'N$ ,  $\lambda 34^{\circ}27'0''W$ ) по льду  
на Шпицберген. В походе было  
22 человека, из которых уцелел один —  
Александр Лачинов.

На о. Н. Лачинова осталось

2 чел. научн. сотр. и команды.

Впереди были горы, за которыми должны были быть люди, — сзади было море, море уходило во льды. Лачинов

встал и быстро пошел прочь от могилы, не оборачиваясь, — вернулся, ткнул ногой камень и опять пошел к горам: едва ли подумал тогда Лачинов, что в нем была враждебность не к этому трупу, — но было в нем озлобление здорового человека перед бессильем, болезнью, смертью. — „Не слушаются, запинаются ноги, лечь бы, лежать, — а я вот нарочно буду за ними следить и ставить их в те точки, куда я хочу! Не хочется шевелиться, лечь бы, лежать, нет, врешь, не обманешь: — встану, пойду, иду, — не умру. Обману цынгуну”.

И Александр Лачинов ожил, вернулся к реальности — впервые после смерти Елизаветы Алексеевны. „Жить! Жить! — жизнь все простит и оправдает! Жить! Жить!”..

Тогда, там, в географической точке, имя которой Москва, он сразу, в три дня разрубил все свои узлы, чтобы уйти в море, чтобы строить наново, — чтобы Москва стала только географической точкой. Тогда, там, в море, в шторм, мучительно, неясно:

— Москва — жена — дела — спектакли — роли — слава: — ложь! Нет, ничего не жалко, ничего нет!..

Нет, не жаль ничего, ничего нет! Там за обломками „Свердрупа”, на острове брата, возле покинутой избушки — в руках осколки черепа, разможенного пулей брата, пулей близнеца. Елизавета, милая, лозинка, ты прости, ты прости меня, — все простите меня! И вы, все матери, все женщины, которые знали меня, — простите меня, потому что ложью я исстрадался. Я ничего не хочу, — ведь я только студент первого курса, и я выстрадал, вымучил себе право на жизнь. Ничего не жалко, ничего нет. Работа? — да, я хочу оставить себя, свой труд — себя таким, как я есть, как я вижу. Это же глупость, что море убьет, — а ты Лиза, — прости!

Александр Лачинов помнил ночь на Шпицбергене. Это были дни второго года экспедиции. В домике инженера Бергринга, — в дни после страшных месяцев одиночества во льдах, среди людей, в последнюю ночь перед уходом на корабле в Европу, он, единственный оставшийся от похода по льдам со „Свердрупа” на Шпицберген, — ночью он, Александр Лачи-



нов, подошел к окну, смотрел, прощался, думал. Домик прилепился к горе ласточкиным гнездом; вверх уходили горы, горы были под ним, и там было море, и там на том берегу залива были горы, — там, в Арктике, свои законы перспективы, светила луна, и казалось, что горы за заливом — не горы, а кусок луны, сошедшей на землю: это ощущение, что кругом не земля, а луна, провожало Лачинова весь этот год. И над землей в небе стояли столбы из этого мира в бесконечность — столбы северного сияния, они были зелены, величественны и непонятны.

В тот день Александр Лачинов пил виски и шведский пунш, и было очень одиноко в ночи, в этом маленьком домике, построенном из фанеры и толя, как строятся вагоны, с эмалированными каминчиками в каждой комнате, с радиоаппаратом в кабинете, с граммофоном в гостиной, — похожем на русский салон-вагон. — Там тогда в этом домике было четверо: двое из них тогда уезжали в Европу, — Лачинов в Архангельск, строить новую жизнь, — инженер Глан — в Испанию или Италию; Бергринг оставался на шахтах; Могучий уходил на север Шпицбергена. — Человечество!.. — человечество не может жить на Шпицбергене, но там, в горах, есть минералогические залежи, там пласты каменного угля идут над поверхностью земли, там залежи свинца и меди, и железа, и прочее: и капитализм бросает туда людей, чтобы копать железо и уголь. Там брызжут фонтанами среди льдов киты, ходят мирные стада тюленей, бродят по льдам белые медведи, бродят песцы, — и человечество бросает людей, чтобы бить их. — Там свои законы: и первый закон — страшной борьбы со стихиями, ибо стихии там к тому, чтоб убивать человека. И там человек человеку — должен быть братом, чтобы не погибнуть: но и там человек человеку бывает волком, — там на Шпицбергене нет никакой государственности, ни одного полисмэна, ни одного судьи, — но у каждого там есть винтовка и там есть быт пустынь.

Вот о том, что уехал в Испанию, об инженере Глане: тот, кто первый воткнет палку во льдах и горах, никому не при-

надлежащих, и напишет на дощечке на ней — „мое от такой-то широты и долготы — до таких-то“, — тот и является собственником: это называется делать заявки на земли и руды; инженер Глан, норвежец, — он квадратен, невысок, брит, на ногах пудовые башмаки и краги, брюки галифе, под пиджаком и жилетом фуфайка и на вороте фуфайки галстух (!) — а на шее на ремешках цейсс и кодак. Каждым июлем, — месяцем, когда может прийти первое судно на Шпицберген, — инженер Глан приезжает на Шпицберген в свои владения, в Коаль-бай, где у него избушка и где стоит по зимам его парусно-моторный шейт, — он, Глан, — горный инженер и на этом суденышке он бродит по всем берегам Шпицбергена, изучает, щупает камни, землю, под землей, — и: делает заявки. Это весь его труд. Он спит в каюте на своем шейте, и на снегу в горах, и на льду — в полярном мешке, непромокаемом снаружи, меховом внутри, с карманами внутри для виски и сигарет, — и, просыпаясь утром, еще в мешке, он пьет первую рюмку виски, чтоб пить потом понемногу весь день; он спал в мешке, не раздеваясь; на шейте кроме него были матрос, механик и капитан; все вместе они ели консервы, пили кофе и молчали; когда они были в походе и Глан не спал, он сидел на носу, сутками молчал и смотрел в горы, и курил сигареты. — Инженер Глан продал голландцам угольную заявку — за пятьсот тысяч фунтов стерлингов, без малого за пять миллионов рублей. Зимами он в Ницце. Рабочие роют голландцам уголь. Глан приезжает только на два летних месяца, когда ходят корабли. Он большой миллионер, — и он, конечно, волк: он продал англичанам замечательные заявки на мрамор, англичане привезли рабочих, машины, радио, инженеров, лес (там ничего не растет, и каждое бревно, каждую тесину надо привозить), пищу (потому что там нечего есть, кроме тюленьего сала, которое несъедобно), — и англичане разорились, эта английская фирма, потому что мрамор там — за эти века постоянного холода — так перемерз, так деформировался от холода, что, как только отогрелся, — рассыпался сейчас же в порошок. —

Глан почти не говорил, у него очень крепкие губы, — и сильные жилки, от здоровья и от виски, на носу и у висков... — Полгода ночи, северных сияний, такой луны, при которой фотографируют, — таких метелей, которые бросаются камнями величиной в кулак. — Девять месяцев в году люди, оставшиеся там, отрезаны от мира, — между собой общаются там они радио и собаками, — и на лыжах, если расстояния не больше десятка миль. Там не нужно денег, потому что нечего купить, — там люди едят и пьют то, что скоплено, привезено с человеческой земли; там не дают алкоголя. Там нет женщин, — там ничто не родится, и люди приезжают туда, чтобы почти наверняка захворать цынгой. — Там нет ни полиции, ни одного судьи: директор копей, инженер, в Европе нанимает рабочих, — они будут получать кусок и жилье, за это с них будет вычитаться из того сдельного, что они накопят в шахтах; если они хотят, их жалованье будет выдаваться в Европе тем, кому они укажут, — или они получают его весной. К весне почти все на шахтах перехворает цынгой. — Домики построены — как русские железнодорожные теплушки, в этих теплушках люди переползают из одного года в другой, к смерти, к цынке. Директор копей подписывает с рабочими контракт, рабочий работает сдельно, и, если он захворал, если он сошел с ума, — с него только вычитают за лечение и за пищу, и за угол в теплушке... — Но жизнь есть жизнь, и вот, в ноябре, в декабре, январями, когда на Шпицбергене ночь, в эти дни-ночи там в Арктике — на Грин-гарбурге, в Адвен-бае, в Коальсити — в северном сиянии и ночи, круглые сутки, посменно роятся в земле, в шахтах и штольнях рабочие; рвут каменноугольные пласты, толкают вагонетки, разбирают сор шахт и подземелий. Потом рабочие уходят в свои казармы, чтобы есть и спать. Изредка, в те часы, которые условно называются вечером, рабочие идут в свою столовую, там показывают кинофильму или рабочие играют пьеску, где женщин исполняют тоже рабочие. Тогда приходит радио, и только оно одно рассказывает о том, что делается в мире. Над землей ночь.

Люди едят консервы. — В Адвен-бае по воздуху во мраке и холоде мчат с высочайшей горы от шахт к берегу вагончики воздушной электрической железной дороги с углем; иногда в этих вагончиках видны головы рабочих, склоненные, чтобы не убил на скрепах ток; — а над Грин-гарбургом — в гору ползут вагончики, — тоже электрической, но подъемной железной дороги, — и уходят в земное брюхо. И над Грин-гарбургом, и над Коаль-сити горит, горит мертвый свет электричества, — и горит, горит над ними обоими в небесах северное сияние. Часы показывают день. Там, в шахтах, в верстах под землей, гудит динамит, в динамитной гари роятся рабочие, все, как один, в синих комбинизах, застегнутых у шеи, и в кожаных шлемах, чтобы не убил камень, оторвавшийся наверху. В час прогудит гудок, или в двенадцать, и рабочие потекут во мраке есть свои консервы, отдохнуть на час. И когда они возвращаются в шахты, быть может, иной из них взглянет на горы и глетчеры, и льды вокруг — на все то, что не похоже на землю, но похоже на луну. Быть может, рабочий подумает — о земле, об естественной человеческой жизни, о прекраснейшем в жизни — о любви и о женщине, — и он бросит думать, должен бросить думать, — ибо ему некуда уйти, он ничего не может сделать и достигнуть, — ибо природа, ибо расстояния, непокоренные, непокорные стихии, что лежат вокруг, — существуют к тому, чтобы не давать жить, чтобы убивать человека. И лучше не думать, ибо никуда не уйдешь, ибо кругом смерть и холод, — и нельзя думать о женщине, ибо женщина есть рождение, ибо можно думать — только о смерти. Надо рыть каменный уголь, надо как можно больше работать, чтобы больше вырыть, чтобы проклясть навсегда эту землю... Надо быть бодрым, ибо — только чуть-чуть затосковать, заскулить — неминуемо придет цинга, эта болезнь слабых духом, которую врачи лечат не лекарствами, — а бодростью, заставляя больных бегать, чистить снег, таскать камни, быть веселыми, ибо иначе загниют ноги и челюсти, выпадут волосы, придет смерть в страшном тосковании — В Коаль-сити только один

инженер. В Адвен-бае, в Грин-гарбурге вечерами собираются инженеры, пять-шесть человек, — их клубы, как салон-вагоны, но там есть и читальня, где стены в книгах, и бильярдная, в третьей комнате диваны и рояль, — но на рояль никто не умеет играть, и вечерами надрывается граммофон, — вот теми вечерами, которые указаны не закатом солнца, а — условно — часами на стене и в карманах. Инженеры вечером приходят к ужину в крахмалах, все книги прочитаны, каждый жест партнера на бильярде изучен навсегда; можно говорить о чем угодно, но избави Бог вспомнить слово и понятие — женщина: у повешенных не говорят о веревке, — и тогда надо очень большую волю, чтобы не крикнуть лакею: — „топ, бутылку виски!“ — чтоб не выпить десяток бутылок виски, расстроив условное часосчисление, чтоб не пить горько и злобно... — Это идет час, когда рабочие смены уже сменились, — уже отшумела столовая и в бараках на нарах в три яруса спят рабочие — перед новым днем (или ночью?) шахт — ... В те дни, когда Лачинов был на шахте у инженера Бергринга, с каждым пароходом с земли, из Европы, Бергрингу привозили тюки с книгами, — и у него в чуланчике стояли ящики с виски, и ромом, и коньяком. Коаль-компания только что возникала, — там людей было меньше, чем экипажа на хорошем морском судне: Бергринг капитанствовал. Его домик был, как ласточкино гнездо, он повис на обрыве, и к домику вела каменная тропинка. В кабинете у него был радиоаппарат, чтоб он мог говорить с миром, в гостиной — граммофон, — и всюду были навалены книги: но книги были только по математике и по хозяйственным вопросам, и по горному делу, только. Он, Бергринг, с утра одевался в брезентовые пиджак и брюки, и краги его были каменные. Лачинов поселился у него в комнате вместе с Гланом, это были странные дни, в постель им приносили кофе, и мальчик растапливал камин. Потом они опять засыпали. В полдни к ним приходил Бергринг, в ночной рубашке, с бутылкой виски и с сифоном содовой, и они в постели, прежде чем умыться, пили первый стакан виски. В два они обедали.

Бергринг, когда не уходил к рабочим и не говорил с гостями, он сидел с книгой и со стаканом виски. В пять было кофе, и после кофе на столе появлялась бутылка коньяка, она сменялась новой и новой бутылками — И была ночь, их было четверо в гостиной Бергринга: Бергринг, Глан, Могучий и Лачинов. Могучий был русским помором, он сохранил отечественный язык, — но давно уже, еще его деда, звероловы, китобои, моряки перешли жить в Норвегию, и думал Могучий уже по-норвежски. —

Была ночь, когда люди прощались. Завтра они расставались, чтобы никогда не увидеть больше друг друга.

Можно было понять, что будет через месяц с Бергрингом. ... Ночь, арктическая, многомесячная ночь. Домик в горе, в снегах, в холоде, стены промерзли, — из замерзших окон идет мертвый свет; — и то, что видно из окон, — никак не земля, а кусок луны в синих ночных снегах. Стены промерзли, и мальчик круглые сутки топит камин. Часы показывают семь утра, мальчик принес кофе, вспыхнуло электричество в спальне, — рабочие ушли в шахту, — за стенами или метель, или туман, или луна, и всегда холод и мрак. Инженер Бергринг встал, сменил ночную рубашку на свой брезентовый костюм. В кабинете радио вспыхнуло катодной лампой, — оттуда, с материка, из тысяч верст, из Европы: пришли вести о всем том, что творится в мире... Но мир инженера Бергринга ограничен — вот этим скатом горы: можно выйти из домика, спуститься с горы к баракам, пройти в шахты, — и все: ибо ближайšie люди в двух днях езды на собаках, ближайшая шахта. Обед, как всегда, в два, как всегда в столовой внизу, и толстый кок подает горячие тарелки. А потом — диванчик у столика, в гостиной, против камина, и бутылка виски на столе, и книга в руках, и — там за окном ночь и луны пространств. Лицо у инженера Бергринга — как на старинных шведских портретах. — Иногда приходит десятский и говорит о том, что или того-то убило обвалом, или тот-то захворал цынгой, или тот-то сошел с ума, — тогда надо отдавать короткие распоряжения, обыденные, как день.

Иногда по льдам с соседних шахт, на собаках приезжают гости, очень редко, — тогда надо доставать шведский пунш и говорить — вот, о сегодняшних своих буднях, о рабочих, о выработках, о шахтах, о запасах провианта, — тогда надо пить пунш, и граммофон рвет свою глотку. Но чаще другом остается книга, мысль уходит в книгу, в пространства мира, куда заносят эти книги, особенно подчеркнутые этим, что никуда, никуда не уйдешь, ибо — вот на сотни миль кругом — горы во льдах и неподвижные льды, — там новые сотни миль ползущих, ломающихся льдов, корка морей в туманах и холодах, и ночи, — а там тысячи миль морских пространств... — и только там настоящая, естественная человеческая жизнь, — и книги, все, что собраны Бергрингом, — книги о звездах, о законах химии и математики, о горном деле — молчат об этой естественной жизни: мысль Бергринга волит познать законы мира, где человек — случайность и никак не цель.

В последний вечер зналось, как угольщик — последний угольщик со Шпицбергена — понесет через океан уголь, инженера Глана и Александра Лачинова, — д е ш е в ы й уголь — не особенно высокого качества, он идет на отопление второсортных пароходов, но он сойдет и на небольшой фабричке, он прогорит в камине торжественно английского джентльмена, на нем выплавят дешевую брошечку — массового производства — для фреккен из Швеции, — но он же даст и деньги, деньги, деньги — английской, голландской, норвежской — угольным шпицбергенским компаниям: это то, что гонит людей даже туда, где не может жить человек. — Но инженер Глан поедет в Испанию, будет греться на солнце, смотреть бои быков, и всюду с ним будет виски, и около него будут женщины. За окном из этого мира в бесконечность уходили столбы северного сияния. Завтра уйдет Могучий на север. Виски пили с утра. Лачинов стоял у окна в домике, как ласточкино гнездо, и смотрел на залив. Хрипел граммофон. И тогда Могучий сказал: „Женщина”. Каждый звук этого слова скоро наполнился густою кровью, той, что билась в висках и сердце у этих четверых. И не могло быть лучшей музыки, чем слово — женщина.

— „Женщина! Все экспедиции, где есть женщина, гибнут, — говорил Могучий, — гибнут потому, что здесь, где все обнажено, когда каждый час надо ждать смерти, — никто не смеет стоять мне на дороге”.

— „Да-да, — заговорил в бреду Лачинов. — Знаете, остров моего брата, мне стыдно говорить, мне стыдно слушать... Я год шел льдами. Я все брошу для нее. Это неправда, что нельзя думать о ней. Я шел во льдах и не умер только потому, что она умерла...” — Лачинов начинал бредить. Могучий перебил Лачинова: — „Ну, говорите, ну, говорите, как она улыбнулась? — глядите, глядите, какая у нее рука!” — „Об этом мы не сказали с братом ни слова!” — крикнул Лачинов. И тогда крикнул Бергринг: „Молчать, пойдите на воздух, выпейте нашатырю, вы пьяны! Не смейте говорить, — вы завтра идете на север!” Глан стал у двери, руки его были скрещены. Опять кричал Бергринг: — „Молчите, вы пьяны, идемте к морю на воздух, иначе никто из нас никуда не уйдет завтра!”

На Шпицбергене, в заливах, на горах, — на сотни верст друг от друга разбросаны избушки из толя и теса; они необитаемы, они поставлены случайной экспедицией — для человека, который случайно будет здесь гибнуть; иные из них построены звероловами, зимовавшими здесь. Все они одинаковы, — Лачинов на пути своем с острова Николая Лачинова встретил три такие избушки, и они спасли его жизнь. Двери у избушек были приперты камнем, они были отперты для человека, в них никто не жил, — но в одной из них на столе, точно люди только что ушли, лежало в тарелке масло, — а в каждом в углу стояли винтовка и цинковый ящик с патронами для нее, а в ящиках и боченках хранилась пища, на полках были трубка и трубочный табак. Посреди избы помещался чугунный камелек, около него стол, около стола по бокам две койки, — больше там ничего не могло поместиться; у камелька лежал каменный уголь. Снаружи домик был обложен камнем, чтобы не снес ветер. Около домиков лежали звероловные принадлежности, были малень-



кие амбарчики с каменным углем и бидонами керосина. Домики были открыты, в домиках — были винтовка, порох, пища и уголь, — чтоб человеку бороться за жизнь и не умереть: так делают люди в Арктике. Последний домик, где Лачинов, уже в одиночестве, потеряв своих товарищей, прокоротал самые страшные месяцы, стоял около обрыва к морю, у пресноводного ручья, между двух скал, — и это был единственный дом на сотню миль, а кругом ползли туманы и льды. Быт и честь севера указывают: если ты пришел в дом, он открыт для тебя и все в доме — твое; но, если у тебя есть свой порох и хлеб, ты должен оставить свое лишнее, свой хлеб и порох, — для того неизвестного, кто придет гибнуть после тебя. На утро Могучий с товарищами на парусно-моторном шейте ушел на север Шпицбергена, на 80°. Их было пятеро здоровых мужчин; они повезли с собой все, что нужно, чтобы прожить шестерым, мясо, хлеб, порох, звероловные снасти и тепло, — не домики, а конуры, каждая такой величины, чтобы прожить в ней одному человеку и шести собакам; все это они припасли от Европы. На 80° они вморозили в лед свой шейт и разошлись в разные стороны на десятки миль друг от друга, чтобы зарыться в одиночество, в ночь, в снег. Они расползлись на своих собаках, на собаках и на плечах растаскивая домики, — в октябре, — чтобы встретиться первый раз февралем, когда на горизонте появятся красные отсветы солнца: эти месяцы каждый из них должен был жить — один-на-один с собою и стихиями многомесячной ночи и извечного холода. Там некому судить человека, кроме него самого, там он один, — и там у всех людей один враг: природа стихии, проклятье, — там ничто никому не принадлежит, — ни пространства, ни стихии, ни даже человеческая жизнь, — и там крепко научен человек знать, что человек человеку — брат. Там человеку нужны только винтовка и пища, — там не может быть ч у ж о г о человека, ибо человек человека встречает, к а к брата, по признаку ч е л о в е к, — как волк встречает волка по родному признаку в о л к. Там нельзя запирать домов.

Ночь, арктическая, многомесячная ночь. Быть может, горит над землей северное сияние, быть может, метет метель, быть может, светит луна, такая, что все, все земли и горы начинают казаться лунной. И там — в ледяных, снежных просторах и скалах — идет Могучий: с винтовкой на руке, от капкана до капкана, смотрит ловушки, — не попался ли песец? — следит медвежьих следы, — делает то, что делает каждый день; потом он приходит к себе в избушку, растапливает камелек, кормит собак, греется у камелька, пьет кофе, ест консервы или свежую медвежину, курит трубку; — еще подкидывает в камелек каменного угля, подливает тюленьего жира и — лезет в свой мешок спать, в мешок с головой, потому что к часу, когда он проснется, все в домике застынет от семидесятиградусного мороза. — У этого человека, у Могучего есть своя биография, как у каждого, — и она несущественна. Европа не уделила ему места на своем материке, право на жизнь погнало его в смерть: нельзя не гордиться человеком, который борьбой со смертью борется за право жить — Он лежит в своем мешке; о чем он думает? — какую астрономически-отвлеченной точкой ему кажутся — Христиания, Тромсэ, Архангельск, Москва?

В Арктике, во время зимовки, Николай Лачинов думал о Москве. В Москве мокрые дни. И, как каждый день, после суматошного дня, после ульев студенческих аудиторий, Николай Лачинов будет идти тихим двором старого здания университета в зоологический музей и там в свой кабинет — к столу, к микроскопу, к колбам и банкам и к кипе бумаг. В кабинете большой стол, большое окно, у окна раковина для промывания препаратов, — и стен нет, потому что все стены до потолка в банках с жителями морских доньев Арктики. Каждый раз, когда надо будет отпирать дверь, — из банки будет подглядывать осьминог.

За остатками экспедиции Николая Лачинова пришло судно „Мурманск“. Последней землей Арктики стала для Николая Лачинова Новая Земля, Белужья губа. „Мурманск“ был последним судном, шедшим с Новой Земли на конти-

нент. „Мурманск” отвозил Николая Лачинова революции. Новый корабль должен был прийти сюда только через год, новым летом. Дни равноденствия уже проходили. Были сумерки, туман мешался с метелью, на земле лежал снег, а с моря ползли льды. Горы были за облаками. Команда на вельботах возила с берега пресную воду.

Через неделю „Мурманск” должен быть в Архангельске, оставить страшное одиночество льдов, тысячемильных пространств, мест, где не может жить человек, — через десять дней должна была быть Москва, революция, дело, жены, семьи. Экспедиция была закончена. „Мурманск” еще утром отгудел первым гудком, матросы спешили с водой. На всей Новой Земле жили — только — двадцать две семьи самоедов. Самоеды, ошалевшие от спирта, просочившегося на берег с судна, бестолково плавали на своих елах от берега к пароходу. Николай Лачинов, который был помыслами уже в Москве и в революции, писал экспедиционное донесение. Каюта Николая Лачинова была на спардэке, горело электричество, Николай Лачинов сидел за столом, а на пороге сидел самоедин, напившийся с утра, теперь трезвевший и кланчивший спирта, предлагавший за спирт все, — песцовую шкурку, жену, елу, малицу. Николай Лачинов молчал. Когда самоедину надоедало повторять одни и те же слова о спирте, он начинал петь, по полчаса одно и то же:

Начальник сидит, сидит,

Хмурый, хмурый —

Николай Лачинов обдумывал, какими словами написать в донесении о том, как север бьет человека и сконструировал логический переход от экспедиционных дел и науки к революции.

На радиостанции X, в полярных снегах, в полугодовой ночи, в полярных сияниях, зимовали пять человек, отрезанных тысячами верст от мира; они устроили экспедиции обед, начальник радиостанции положил себе в суп соли, — и тогда студент-практикант, проживший год с начальником, закричал: — „Вы положили себе соли, соли! Вы положили столько,

что нельзя есть супа! Вылейте его! Иначе я не могу!” — начальник сказал, что соли он положил в суп себе и положил соли так, как он любил; студент кричал: — „Я не могу видеть, вылейте суп! я требую!” — студент заплакал, как ребенок, бросил салфетку и ложку, убежал и проплакал весь день. Пятеро, они все перехворали цынгой; они не выходили из дома, потому что каждый боялся, что другой его подстрелит, и они сидели по углам и спали с винтовками, — они, из углов, уговаривались идти из дому без оружия, когда метелями срывало антенны и всем пятерым надо было выходить на работу; все пятеро были сумасшедшими.

„Мурманск” снял в самоедском становище на Новой Земле уполномоченного от Островного Хозяйства. Это был здоровый, молодой, культурный человек; он прожил год с самоедами. И он сошел с ума: он бросил курить — и запретил курить всему самоедскому становищу, — он прогнал от себя жену и запретил самоедам принимать ее, и она замерзла в снегу в горах, когда пешком пошла (собак он не дал ей) искать права и спасения за сто верст к соседним самоедским чумам; он запретил самоедам петь песни и родить детей; когда „Мурманск” пришел в бухту, он стал стрелять с берега, и ни одна самоедская ела не пошла навстречу кораблю; команда с корабля пошла на вельботе к берегу, — он заявил, что не разрешает здесь высаживаться, что он хозяин этой земли. И его, сумасшедшего, теперь везли, чтобы отдать в больницу.

Самоедин пел:

Начальник сидит, сидит,  
Хмурый, хмурый —

В бухте была зеленая вода, за бухтой в море синели льды. Берег уходил во мглу; снег на горах, сливаясь с облаками, был сер, и черною грязью вдали казались еще не заметенные снегом горные обвалы и обрывы. Самоедского становища в тумане не было видно. Была абсолютная тишина. Пришел матрос, сказал: — „Вода взята, ушел последний вельбот, капитан скомандовал в машину нагонять пары. Капитан

спрашивает давать второй свисток, чтобы все были на борту?" — „Давайте“, — ответил Николай Лачинов. Самоедин на пороге посторонился матросу, матрос весело сказал самоедину: — „Ну, а ты, Обезьян Иваныч, бери ноги в руки, катись на берег, а то увезем в Европу!..“ — Помолчал и добавил строго: — „катись, катись, надоел, — сейчас уйдем в море!“ — Пароход сипло загудел, надолго, раз и два, — и в горах отдалось сиплое эхо, — вахта пошла на места. Николай Лачинов прошел к капитану на мостик. Самоеды — нырками — плавали около парохода. Через полчаса пароход должен был выйти в море, в неделю пути океанами и просторами, чтобы через десять дней была Москва: это был последний пароход с Новой Земли, Новая Земля оставалась на год во льдах, холоде и мраке. Экипаж был уже на борту, вельбот поднимали на палубу.

И тогда от берега по воде с быстротою полета птицы помчала ела, человек из нее кричал, останавливая. Ела ласточкой прильнула к шторм-трапу, и с ловкостью обезьяны на палубу влез самоедин, в малице, в пимах, испуганный и запыхавшийся. И на палубе сразу исчезла его ловкость и быстрота, — он стоял смущенный и растерянный. И те самоеды, что слезли было с судна, вновь поднялись на него, стали у фальшборта, взволнованные, шумливые, враждебные. Тот, что влез первым, — вдруг раскис и заплакал, по-бабьи гугниво. Капитан спросил его: — „В чем дело, чего ты хочешь?“ — Тогда зашумели все самоеды, и тогда узналось, что этот самоедин, прознав про стоянку судна, приплыл из-за сотни верст, из своего становища, — что в прошлом году он заказал привезти себе из Европы десять семилинейных ламповых стекол — и ему привезли семь десятилинейных, он ждал стекло целый год, — он будет ждать еще год, — но — чтобы обязательно ему их привезли, иначе он не хочет России, она ему не нужна, ему все равно — леший там или царь, ему нужно десять семилинейных, а не семь десятилинейных, — и тогда он отдаст эти семь десятилинейных! — На судне не нашлось семилинейных стекол, но нашлась двухлинейная жестяная

лампочка со стеклами, ее отдали самоедину. И еще на складе оказалась коробка с гривенничными компасами, такими, какие матросы любят вдевать в петлицу вместо брелока к часовой цепочке: каждому самоедину был дан такой компас. — Тогда капитан крикнул с мостика, облегченно и с напускною строгостью: — „Эй, тылки-вылки, марш с корабля, живо!“ — И самоеды с ловкостью обезьян посыпались за борт на свои елы. Третий отревел гудок, загремела лебедка, принимая якорь.

Через час земля исчезла во мраке, была уже ночь и в облаках серебрела луна. Здесь был ветер, разводил волну; судно, покряхтывая, ложилось на волны, на бак заплескивалась вода, иногда в такелаже начинал ныть ветер. Судно замерло в ночи. На капитанском мостике в рулевой стояли вахтенный матрос и штурман. На румбе был юг, кругом были холод и мрак.

— Через неделю дома! — сказал матрос.

Николай Лачинов пошел в каюту писать вахтенное донесение. Рядом в каюте младшие сотрудники пели песни в предчувствии земли, Москвы. А самоедин, тот, что год ждал семилинейных стекол, шел в этот час обратно к себе в становище. За пазухой у него были лампа и компас, за плечами висела винтовка системы Браунинг. Лед сгруживался у берегов; когда по пути вставали большие ледяные поля, самоедин вылезал на лед, взваливал себе на голову свой каяк и шел пешком, — потом опять плыл по воде. О полночь он устроился спать на берегу, на снегу; за пазухой у него было сырое оленье мясо, он поел его; потом лег на снег, поджав под себя ноги, прикрыв себя каяком. Лампочку, чтобы не раздавить, он поставил в сторонку. — Это было в августе 1917 г. Николай Лачинов ехал в Москву, чтобы делать революцию. Радио „Мурманска“ бросало в космос таинственные точки и тире: ч-ч-чч-т-т-тсс... Экспедиция кончилась.

Николай Лачинов отодвинул университетские лаборатории на задний план — на много лет, пошел в революцию. Биографии людей не всегда начинаются с детства. У некото-

рых биография кончилась революцией. Некоторым революция создала биографию. В иных случаях начало биографии суть — старость и мужество. Биографии очень многих в России в годы революции начались 25 октября старого стиля 1917 года.

Николай Лачинов запомнил из гражданской войны следующее: С отрядом кавалеристов Николай шел по крымскому плато от Кокоз к метеорологической станции на Ай-Петри, чтобы перехватить бахчисарайское шоссе, занятое белыми. Люди не спали несколько ночей. Всю ночь накрапывал дождь, и только к рассвету перестал. Темнота была такая, что глаза были ненужны. Всю ночь ехали по степи. Красноармейцы молчали, мокли, не понимали — куда провалились горы. Станцию к рассвету бесполезно обстреляли, потом улеглись спать.

Светало.

Николай с вестовым пошел осмотреть местность. Прошли через балку в лесок, поднялись на вершину Ай-Петри к тому часу, когда море лежало уже широчайшим простором. Направо и налево шли горы, обвалы, скалы, леса, необыкновеннейшие просторы, чудесный пейзаж. Николай ступил к обрыву, взглянул под отвес — и поспешно отошел от обрыва: закружилась голова, нехорошо потянуло вниз, — все бессонные ночи навалились на веки, сделав голову стопудовой.

И тогда произошло невероятное, обстоятельственнейшее в жизни Николая.

Налево в море у самых гор красным полымем вспыхнули облака. Из синей мглы возникли — невидимые доселе — судакские горы. Огромная синяя тень легла над землей и морем. Эта синяя тень дрогнула, пошла, огненное золото догоняло ее, шагая с вершины на вершину. Огненное золото упало с облаков на вершину Ай-Петри: и тогда в море из воды, над водой появился багрово холодный, зловеющий, всепобеждающий кусок солнца. Этот кусок округлился, выдвинулся, рассыпался миллиардами дрызгов в море. Через минуту багровый эллипс стал над водой. И тогда показалось, стало физически ясным, что — в этом мире в этот миг не-

подвижны только он, Николай Лачинов, революционер, и оно, солнце. Было физически ясно, что солнце неподвижно, а дрогнули, качнулись и пошли справа налево вниз от солнца земля, море, обвалы, горы, леса: горы, обвалы, долины двинулись вниз. В переутомленных мозгах слышен был треск, — надо было раздвинуть ноги, упереться ногами, чтобы не упасть — с земли, которая двинулась: земля под Николаем Лачиновым качалась: неподвижны были он да солнце.

Это было не знание, но ощущение.

Но, когда солнце поднялось на аршин, все было уже совершенно буднично: из-под стопудовых век Николая Лачинова смотрели маленькие но острые глаза: где, как раскинуть сотню, чтобы закупорить бахчисарайское шоссе?

Александр Лачинов запомнил из гражданской войны следующее: мумию, которая светилась, пахнула и гудела.

Летчик Обопынь рассказывал:

Это было, видите, на Кубани, я потерял мой самолет, ширился тиф. Пятеро мы ушли с поля боя: два живых боевых товарища, два мертвеца и я, третий живой. Трое живых горячествовали тифом. Мы ушли от шрапнелей, унося двоих раненых боевых товарищей. В бреду не заметили или запаматовали, что эти два боевых товарища умерли. Мы несли мертвецов. Иногда в бреду я командовал:

— Ротаа, ложись! — ро-ота, плии!

Живые клали мертвецов на землю, совали в их руки винтовки. Живые стреляли в пустую степь.

На бивуаках мертвецы несли караул. Живые в бреду не замечали, не заметили, что в июльском зное за эту неделю мертвецы совершенно изгнили, у одного отвалилась челюсть, у другого вывалились кишки.

Живые кормили мертвецов, насовывая им во рты своими ложками пшеничную кашу.

Отступая, живые принесли мертвецов в разграбленную больницу. В степной больнице не было ни одного человека, все разбежались, и только в доме врача лежала женщина в отчаяннейшем бреду тифа и возле нее Александр Кирил-



лович Лачинов, тоже больной, в бреду. Впервые после полярной экспедиции я встретил Александра. В бреду он не узнал меня. Оба в бреду мы разговаривали. „Кто эта женщина?“ — спросил я. „Не знаю, я не знаю даже ее имени, мы остались в больнице вдвоем. Ночью в бреду, в страхе одиночества и воющих собак, я пришел к ней, она отдалась мне, она была девицей, никогда женщины не встречали меня такою страстью, такими поцелуями и таким отдаьем, возникшими в бреду, как было той бредовою ночью.

Утром мы забрали Александра с собой, оставив женщину в доме врача. Трупы и четверо живых пошли дальше. Александр первым сказал нам, что мы несем трупы. Мы встретили наших, они отобрали у нас трупы...

Революция после гражданской войны предложила Николаю Лачинову сменить Decapoda радиом и вместо университета заняться строительством. Слова Фредерика Содди —

„Второй закон, о полезном действии энергии, будет для настоящих целей с достаточной ясностью установлен, если мы скажем, что одно и то же количество энергии может быть использовано только один раз. Для получения полезной энергии из какого-либо источника энергии, покоя или потенциальной, необходимо превратить ее в новые формы, в энергию кинетическую, энергию движения...” —

эти слова для Николая Лачинова сочетались с понятиями и сочинениями Маркса и Ленина. На „подкаменных” землях, в пятистах верстах от железной дороги, в Полюдовой лощине у безымянной реки Лачинов начал строить радиевый завод.

В гору там вникли штольня и шахта, в стороне под обрывом на камнях растворялось эхо заводского гудка. Около штолен, где проложены были рельсы для вагонеток, свален был желтый камень, извлеченный из недр горы, древний камень Архейской эпохи, освобожденный от медного колчедана, от оловянного камня, — камень, который родит радий и ставит человечество на пороге величайших, небывалых, равных только той, когда человек научился владеть огнем, — величайших революций и эпох. Под камнями обрыва, в сто-

роне от штольни, около безымянной реки, над нею, стояли бараки для рабочих, дымили трубы над цехами. Директор завода Николай Лачинов по-прежнему жил в первом построенном домике, возле лаборатории.

Над заводом поднималась понурая Полюдова гора, лоци-на уходила в скалы, и кругом шли сотни верст безлюдных медвежьих лесов, перми и коми. И тундра. Тундра — такое пустое небо, белесое, как бы его не было, такая пустая тишина, как если бы звук не существовал; и растут кусты малины, и пролетают над тундрой дикие гуси, и веют ветры — и небо, от которого тихо, как от смерти. Летом там белые, зеленые ночи. Кочевые самоеды-зыряне, когда летом идут через Великую Тундру от Туманского камня на „Русь” — в Кузьминском Бору, где сохранились сотни идолов, бьют оленя, мажут его кровью идола и съедают — „абурдуют” — сырое мясо оленя, несъеденное божком. Зыряне — народ коми — хозяева лесов от Северной Двины до Подкаменья, то есть до Урала.

Здесь в Верхнюю Лупью четыре месяца в году никак не проедешь, а в иное время и зимой и летом туда ездят на саях: телег там не видели. Здесь, если надо человеку побывать верст за сорок, он говорит: — „ничего, побегу!” — сбегает и к полночи будет дома.

Здесь на реке Доеге по Каменному хребту шел изыскатель, сыскал избу: в избе жил крестьянин, — так, мол, и так, жизнь, — крестьянин свел изыскателя к ручью, копнул лопатой, посыпал с лопаты:

— Смотри, гражданин анженер, — чистое золото. На золоте живу, а хлеба — нету.

Здесь в лесах, на горах, на реках — много находят костей мамонта — и никак нельзя их донести до музея: местная народность пермь считает кости мамонта — „мунянь” — земляной хлеб — целебным снадобьем, священным, — и деревнями собирается пермь есть мамонтовы кости.

Здесь в Большой Коче, в Юрлинском районе, до сих пор пермяки и коми на Фролов день бьют быков Богу, причем

режет быков местный православный батюшка: быков варят в котлах против православной церкви, — в этих же котлах варят и кумышку. И в каждой волости в этих местах имеется свой леший, именуемый по имени, отчеству и фамилии: Иван Иванович Иванов. Камень, Кама, лес, зверь сделали людей такими же крепкими и кондовыми, как лес, зверь, камень и Кама.

Здесь на безымянном притоке реки Доеги легла Полюдова лощина, плохую молвою известная в народе: в этой лощине ничто не росло и никто не жил. Лощина была безжизненна и безмолвна, и птица, и зверь, и человек обходили ее, камни не плодили ни кедра, ни вереска, ни ивана-да-марьи. Зимой в лощине таял снег. Леса, тишина, горы: а сегодня там в лощине между горами красным, упрямым, бунтовским светом светятся заводские трубы, светится радиевый завод, красным заревом на облаках.

Заговор на разлученье: „— черт идет водой, волк идет горой, они вместе не сходяца, думы не думают, плоды не плодят, плодовых речей не говорят, — так бы и раба Божья (имя рек) с рабой (или рабом — имя рек) мыслей не мыслили, плодов не плодили, плодовых речей не говорили, а все как кошка да собака жили” —

Внутриатомную энергию вырабатывают не только радиевые руды, но и человеческая воля. Заговор на разлученье Николай Лачинов сменял заговором на сговор, на тот сговор, которым должны жить народы СССР.

Николай Лачинов пошел пешком по подкаменным верстам, походом, с отрядом старателей, — нашел Полюдову лощину, — отнес ее камни в Академию. Построил завод, вырабатывающий радий. Строить заводы в те годы — трудное было дело, — но строить — всегда прекрасно, строить, делать, обдумывать, понимая, что революция не в том, что, а в том, как обдумать строимое, собирать тесины, камень, железо и людей — тех людей, которых переделывает строительство.

На заводе там, где в чанах соляной кислотой разлагается на элементы — на уран, свинец, кальций, железо — разлага-

ется руда — разлагаются  $U_3O_8$ ,  $PbS$ ,  $SiO_2$ ,  $CaO$ ,  $FeO$ ,  $MgO$ , — там нечем дышать, и рабочие работают в противогазах сменной через каждые четверть часа — в удушьи соляных, азотных и серных кислот. На заводе там из тонн руды добываются миллиграммы радиевых солей: и эти тонны, прежде чем освободить радий, многожды во многих чанах — окисляются, ощелачиваются, насыщаются водным раствором, выпариваются, окристаллизовываются и вновь окисляются. Тогда, когда откинута вся посторонняя элементная часть, когда получен радионесущий сульфат, — этот сульфат переводят путем карбонатов в хлориды, путем спекания сульфатов с углем в сернистые соединения: радий тогда остается вместе с барием, — в тех печах, где спекается сульфат с углем — невероятно жарко. — Рабочие работают в противогазах, сменяясь каждые четверть часа, чтобы отдышаться. Поистине, если бы дикарь попал в химические цеха, он должен был бы решить, что самое главное страшное и колдовское — именно эти цеха, где люди работают в противогазах масок, — где нечем дышать, — где незащищенный глаз слезится и слепнет, — где непонятный ряд трубищ, труб, трубочек, печей, печурок, замысловатых приборов и аппаратов, — где шипит, булькает, чавкает, харкает, хрюкает, свистит, стонет, — где в чанах ползают земные недра и рождаются кристаллы, первородные элементы вселенной, — где люди молчаливы, действительны, точны. Эти два последних понятия свойственны уже не дикарям, ибо право на жизнь этим цехам дали земные недра, куда человек врезался шахтами, во мрак, неизвестность и удушье земли. Шахта была здесь же. Жизнь всегда чудесна в своей простоте.

В шахте сделана была конюшня, где жили ослепшие лошади, таскающие вагонетки. Неожиданнейше в шахте — в конюшне — к запаху земных недр примешивались запахи конского пота, навоза, сена. Отдыхающие у конюшья лошади мирно жевали. На полу в конюшне валялась солома. На нарах под электрической лампочкой, на соломе, с книжкой, валялись конюхи, как конюхи, пареньки лет двадцати и

мужики, блондины и брюнеты, прыщавые и бородатые. Ни в какой мере им не было дела до того, что они лежат в местах земных чудес, в коих разлагается земная энергия, откуда человечество берет новое знание. В шахте, и в конюшне, в частности, было очень жарко, поэтому конюхи дежурили только по четыре часа. Кое-кто лежал в совершенном блаженстве, ногу задрал на ногу, руку закинув за шею, медленно мусоля страницы „Азбуки коммунизма“.

Коми-слова:

— усны — возвращаться с охоты, абы — нет, еванзы — не кричи, баржиалы — шататься без дела, бара — сызнава, ваныр — речная быстрина, вад — озерко, важмыны — обветшать, вабмыны — ослабнуть, выгты — молчи, велавны — привыкать, вердны — кормить, дыр — долго, ланьтыны — смолкнуть, кынмыны — мерзнуть, мавны — смазать, му — земля, мыргыны — трудиться друг для друга, мыж — опора, уклад — сталь, чер — топор —

Накануне отлета Николая Лачинова в Москву пришел на завод зырянин с удивительной фамилией — Москва. Он пришел в сумерки, потолкался у фабрики-кухни, — в закате направился к директору. Москва был с собакой, с кремневым самопалом, было ему лет сорок. Коми-слова — усны, абы, еванзы — были тем лексиконом, которым начал говорить зырянин Москва. Николай Лачинов, в суконной косоворотке, подпоясанный широким поясом, сидел за письменным столом, локти положив на стол.

Москва пришел из лесов посмотреть на Лачинова.

— Ты роешь из земли камень, — сказал, — такой камень, от которого умирает человек, на котором не растет ни сосна, ни кедр, ни вереск. Наши деды знают эту лощину, вот ту, где твоя шахта, люди всегда обходили ее. Зачем ты роешь этот камень? — О тебе говорят в лесах, что к тебе прилетает змий.

— Аэроплан должен сейчас прилететь, — сказал Николай Лачинов. — Завтра, если ты хочешь, тебя понесут в воздух.

Москва сидел на краешке кресла, подобрал ноги, с шапку между колен. Из-за шиворота его рубашки на красную шею выползла вошь.

— А водка у тебя есть? — спросил Москва.

— Нет, — ответил Лачинов. — Будем пить чай. Ты расскажи про леса.

Глаза Москвы шмыгнули мышами, он поправил в коленях шапку.

— Не пьешь?

— Не могу.

— Вот и мне говорили в лесах, — такое богатство, а не пьешь.

— Не пью.

Над Полюдовой лощиной заревел пропеллер и в небе возникла точка самолета.

Москва подошел к окну, Лачинов глянул в небо.

— Вон, видишь в небе, — сказал Лачинов.— Это самолет. Завтра он поднимет тебя в воздух.

Глаза Москвы забегали мышами, спрятались в его бороде, растущей из глаз. Москва зажал шапку меж ног и сел на корточка. И на корточках, пригибаясь к земле, пополз в угол. Закрестился.

Крикнул:

— Отпусти!

— Что ты, дурак, обалдел!? — ответил Лачинов и пошел к Москве. — Встань!

Москва вжался в угол, сторонясь Лачинова. Он грозно крикнул, обнажив клыки:

— Чур меня, чур!

Москва был страшен в своем страхе и в шаманстве.

Пропеллер стихнул за горой. И Лачинов, и Москва молчали. Лачинов предложил Москве папиросу, сказал: „сидись!“ — Москва закурил, сел.

— Это кто летал? — спросил Москва.

— Человек, — ответил Лачинов. — Пойдем пить чай.

Вечер нагружал комнату мраком. И еще раз зачурался Москва. В столовой шумел самовар, было темно. Лачинов включил электричество. И вновь тогда забегали глаза Москвы мышами, вновь он запятился в страхе. Лачинов выключил

ток, лампа погасла, — Лачинов зажег вновь. — Москва смотрел и растерянно, и хитро. Он подошел к выключателю, протянул руку и отнял ее.

Лачинов сказал:

— Верти.

— Ничего? — спросил Москва, — выключил ток и вновь зажег лампочку.

— Горит! — сказал Москва. — Колдуешь?

— Нет.

— А какая сила? — огонь без огня? — Москва пощурился на лампу, осмотрел внимательно, подставил ладонь к свету, понюхал воздух: — И не греет, и не воняет. Светит!..

Весь тот вечер Москва впадал в чудеса. Весь вечер то-и-дело он включал и выключал электричество, присматривался, примеривался, ухмылялся, — а в те минуты, когда на него не смотрели, он хитро крестился и шептал, шаманил. — Третий раз впадал в чудо Москва, когда в красном уголке заговорил громкоговоритель, крестясь, хитря, шаманя, радуясь чудесному и в страхе от него, — и опять быстро освоился, в чудесном удивлении переводя регулятор с концерта в Большом театре на выступления вождей, к съезду ученых, на радиогазету. Он выключал электричество, вновь включал его и шел передвигать регулятор на музыку Бетховена. Вечером, когда пришли летуны, Москве дали стакан и еще стакан водки. Москва сидел на полу, ибо не мог держаться на стуле, — ноги разложил широким циркулем, блаженно мотал головою в шапке, пел зырянские свои песни и, в твердом убеждении, что вокруг него сидят отчаяннейшие колдуны, просил взять его в их компанию. — Затем Москва уснул. Его положили в конторе на диване, с дивана он свалился. Дверь из конторы вела в кабинет Лачинова.

Ночью Москва проснулся. Николай Лачинов сидел за письменным столом, один. Москва начал следить за Лачиновым, подкрадываясь, как за зверем в тайге. Лачинов долго сидел над бумагами. Потом пошел в лабораторию и начал там работать за оцинкованным столом с пробирками и ре-

тортами. Два раза возвращался в кабинет за формулами и цифрами. Москва бесшумно шел за ним. Ночью Москва видел четвертое чудо. Когда Лачинов вышел из кабинета, Москва прокрался к пробиркам. Взял в руки пробирку, пощупал ее и поднес к глазам. И сразу же отскочил от пробирки, от недоумения широко открыв глаза. Когда он поднес пробирку к виску: — в глазах его, в голове возник нестерпимый ярчайший зеленый свет: это радий выбрасывал свою энергию, лучи которой пронизывали мозг. В лаборатории горело электричество, пробирка была совершенно обыкновенная. Москва смотрел на нее удивленно, подносил ее к голове, — и нестерпимый свет возникал в закрытых глазах, пронизал мозг.

Вошел Николай Лачинов.

— Как ты попал сюда, старик? — удивленно спросил Лачинов.

— Сам пришел, — ответил Москва.

— Старик ты, а глупый, — сказал Лачинов. — Ведь альфа-бэта и гамма-лучи распада радия зазнобят руку, рука зачирвеет, покроется красной коростой ожога. Ты должно быть уже обжогся. Убирайся из лаборатории.

Москва отнесся иронично к словам Лачинова. И тогда Москва увидел пятое чудо. Тяжелым шагом подошел он к выключателю, чтобы поиграть им. Он выключил ток: и во мраке ожили, засветились, зафлюорисцировали земные недра и земные тайны. В этот миг загудел заводский гудок. Москва был спокоен и горд. С утра он шел за Обопынем на аэродром.

Москва рассказывал у себя в лесах, в своем урочище, куда шел две недели вдоль северной Кельтмы и Екатерининского канала, заросшего семьдесят лет назад: — Конечно, когда пришел на завод, один добрый человек привел меня сразу к директору Николаю. Сидим мы себе, пьем чай, а тут вдруг летит аэроплан, прилетел и уселся на земле. „Слушайка, — говорит директор Николай, — потрогай его пальцем!“ Я дотронулся и весь дом загорелся лампочками, которые



светят, но не горят и не пахнут. Тогда пришли летчики, напоили меня и я ничего не помню. Знаю только, что из города Москвы провели на завод трубу и через ту трубу говорит на завод нарком Луначарский разные слова, которые я не понял. Я говорит мне летчик по фамилии Обопынь: „Завтра полетишь с нами!” Я думал, что он шутит и для шутки пошел с ними на гору. Пришли, а он: „Влезай, – говорит, – в аэроплан!” Тогда-то я, правда, испугался. Хотел убежать, а меня поймали. „Если не полетишь, – говорит, – я тебя арестую!” Я думал, думал, а потом должен был согласиться. Не иду, но они взяли меня под руки, привели в аэроплан, привязали ремнем, чтобы я не убежал. „Не бойся, отец, – говорит, – если упадем, то вместе!” И полетели. Сначала летели аршин полтораستا над землей, да так быстро, что в глазах рябило. А потом вдруг поднялись в воздух. Летим, летим, а потом вдруг падаем аршина на два, а то и больше, вниз. Я ухватился за начальника и сижу рядом с ним. Он спрашивает: „Завод видишь?” А я, хоть вижу, говорю, что не вижу. Земля внизу похожа на тарелку. Конечно, перекрестился, сказал: чур-чур. Потом мы снова уселись на землю, все начальники с завода меня узнали и даже ничего не взяли за проезд. А начальник Обопынь написал мне документ. „Покажи, – говорит, – дома, а то не поверят, что ты летал!” Всем вам говорю, ребята, аэроплан хорошая вещь, каждому советую полетать. Даже старший начальник милиции задержал меня во дворе и спросил, как я летал. А потом директор Николай привел меня к себе, посадил в кресло, спрашивал, как я летал и что тогда думал. Тогда я признался, что сначала молился и проклинал летчиков, а теперь, говорю, согласен летать!..

Заговор на разлученье: „Черт идет водой...”

Коми-слова: мыгрыны – работать на другого.

Николай Лачинов знал не только то, что радий перестраивает, перестроит человеческое знание, – но и то, что работа по добыче радия перестраивает человеческие отношения, создавая в тайге пролетариат, пролетарские отношения,

пролетарское мировоззрение. Николай Лачинов жил одиноко, занятый своей работой, делами, мыслями. Это совершенно неверно, что радий есть некий сверхъестественный кладезь сверхматериальной силы. Это совсем не потому, что он обладает какими-нибудь особенными силами или содержит непознанный запас энергии, которого нет у других элементов. Радий изумителен только потому, что он распадается быстрее всех остальных элементов, тогда как иные тела или вовсе не изменяются, или же изменяются так медленно, что человек не в силах проследить за ними. Радий из рода азров — „полюбив он умирает“. Любовь есть распадение энергии, азры суть конденсированная энергия, — потому они прекрасны. Да, да, и неслучайно радий обладает способностью наделять свою радиоактивностью окружающие предметы. Но, разлагаясь, умирая, азра-радий дает в триста шестьдесят тысяч раз больше энергии, чем при сжигании того же веса угля. Первым шагом человечества от варварства к цивилизации было искусство добывать человеческой волей огонь. Но сейчас, когда человек стоит перед знанием о внутриатомных запасах энергии, на пороге обладания этой энергией, — сейчас человечество вновь находится в положении первобытного человека, когда этот первобытный стоял перед костром, зажженным молнией, не зная, как добывается огонь. Те источники энергии, которыми мы сейчас пользуемся, теперь мы считаем просто остатками от первобытных запасов природы, — это есть, это было. Будет, — будет, когда ключ от сокровищницы природы будет в наших руках, когда мы научимся превращать элементы — по нашей воле — из одного в другой. Человек — тоже только запас энергии. „Случайности распада“ будут скинуты со счетов человеческой жизни.

Человечество должно знать вечную, непрерывную и непреодолимую работу космоса, которая, несмотря на медленность, делающую эту работу в краткости человеческого времени незаметною, вызвала в эпохах космического календаря такие большие и полные изменения, что современные черты Земного Шара являются только преходящими моментами постоянно меняющегося действия.

Николай Лачинов жил упорно, тяжело, поглощенный работой, действием, мыслями. Пока же — у человечества в руках только двести тридцать грамм радия, — да, только!..

В тот час, когда летуны сели на землю, а Николай Лачинов с Москвой пили чай, к ним пришла Александра Александровна Безыменская, врач. Она была в белом платье, высокая и прямая. Третий пустой стакан стоял для нее, — она налила себе чая. Москва ходил выключать и включать электричество. Лачинов расспрашивал Москву о лесах, она молчала. Затем Лачинов отвел Москву в красный уголок и вернулся один. Был час отдыха, на горе у летунов, где стал самолет, была свежая почта: она и Лачинов пошли навстречу пилотам.

Николай Лачинов знал об этой жинщине все, знал длинную дорогу, которую она прошла — длинными и достойными путинами книг, раздумий, труда, голода, фельдшерских курсов, коммунистической революции, гражданской войны, медицинского университетского факультета. Николай Лачинов знал, что ее дорога коммунистки и врача к радиевому заводу — не была случайной.

Синие сумерки, рожденные лесами и горами, застлали землю, как следует. Во мраке камни тропинки были мучительно ногам, эти лысые камни, на которых ничто не растет. Чем выше уходили они в гору, тем просторнее было кругом, дальше уходили внизу леса и долины. Одинокий стоял в небе месяц, медленный и усталый. Камни под месяцем посеребрили.

Они шли молча, она впереди, он сзади.

И высоко на горе, на обрыве, мраком уходящем вниз, над огоньками завода внизу, в лунном свете, она остановилась, чтобы сказать. Лунный свет падал пластами, лунные тени падали от гор. Лунный свет осветил ее лицо, печальное и твердое. Было кругом мертво и тихо. Николай Лачинов остановился, опустив голову.

— Что ты мне скажешь, Николай? — сказала она тихо, твердо. — Ты знаешь, Николай, о чем ты должен сказать.

Николай молчал, спрятав лицо в лунную тень.

— Нам надо сказать последние слова, — сказала она. — Николай, ты все знаешь, и я все знаю. Так случилось, что все мои дороги были дорогою к тебе. Ты заставляешь меня говорить! — вот, я приехала сюда, оказывается, для того, чтобы никогда больше не уходить от тебя. Говори, Николай.

Николай молчал. Николай ступил шаг вперед к обрыву.

— Молчишь?

— Я старый холостяк, Александра, всю жизнь я прожил сам. Я старик, а не сделал того, что должен был...

Александра протянула вперед руки, руками ловила слова, руками слова охраняла.

— Уезжай, Александра! — уезжай сейчас же, завтра же, навсегда выкинь меня, забудь, строй свою жизнь без меня. Я не могу, Александра. Ты не знаешь, — вот этот мешок, который называется моим телом, — сколько я дал бы, чтобы выпрыгнуть из него, из этой могилы, куда заперт мой ум. У меня ясный мозг, достаточно ясный для того, чтобы понять, что я уже в гробу моего тела, моих нервов, морали, психики. Мое будущее не может быть построено моими нервами, как гласит мой миф. Я думаю ты знаешь, что витальная способность человека — это практическая задача на вычисление. Витальная способность при рождении ниже, чем в мужском возрасте — это известно — потом, со временем, она падает до нуля. Ты молода, Александра. У меня остался только мозг. Помнишь, я тебе рассказывал, как мой брат Александр, который вовсе не участвовал в гражданской войне, вместе с Обопынем нес трупы и кормил их кашей. Оказывается, что я должен нести ответственность за брата. Я был за полярным кругом, я был на гражданской войне. Я тоже ношу множество трупов.

Александра подняла свои руки, чтобы защитить ими себя от слов, — но лицо ее в лунной мути было покойно, плотно были сжаты губы.

— Ты должна уехать, Александра... Я строю завод и добываю радий, чтобы хоть мозгом вырваться из себя, из прошлого, отовсюду — в будущее, которое мы проектируем.

Я очень люблю брата Александра. Но не гоюсь в мужа.

На горе, на тропинке, раздались веселые голоса. С горы весело сбегали пилот Обопынь и механик Снеж, несший сумку с письмами. Пилоты торопились на ужин. За ужином веселый Снеж поил Обопыня водкой и соглашался принять зырянину Москву в колдуны. Александра Александровна хозяйничала при столе. Вышла поздно. Николай Лачинов сел работать при столе с пробирками. С утра обошел шахты и цеха. Вечером улетел в Москву.

В тот час, когда Николай Лачинов взял самолет, чтобы уйти на усольскую железную дорогу, — вечером, как и каждый день, рабочие в свободную смену собрались в красном уголке — одни, — другие сидели в казармах, третьи пошли к обрыву. На обрыве тогда молодежь пела песни, пиликала во мраке гармоника, хохотали девки-тачечницы, которых точнее назвать — не девками, не женщинами, а — девкищами, ибо были они в пыли и в запахах дневной работы, похожими на каменных из раскопок баб. В красном уголке громкоговоритель мешал (или не мешал?) читать газеты, брошюрки, журналы. В казармах иные играли в козла.

Вечер проходил, как подобает проходить глухому заводскому вечеру.

Быть может, Яшка увел Аленку далеко в горы или вниз к реке и, хоть он и похвалялся перед ребятами всякими своими храбростями, в действительности здесь он сидел около Аленки в молчании и скромности, в том прекрасном бессилии, которое приносит настоящая любовь, — часами, быть может, в молчании, в счастии, держал каменную Аленкину руку и, если и заговаривал, то говорил вовсе не озорные слова, а рассказывал о том, что вычитал в „Азбуке коммунизма“, и о том, как через три недели он поедет учиться — учиться!.. — И в небе тогда поднимался серебряный месяц. А в шахте слепые лошади, ослепшие в вечном мраке, в час отдыха, мирно жевали овес.

В казармах, отрываясь от козла, люди говорили о делах, буднях, отцах, детях, урочищах, — одна „рука“ спорила с

другую, кому когда выходить на работу и кто первый в соцсоревновании. В клубе репродуктор передавал доклад из Москвы.

Кругом полегли горы, леса, болота, реки, — такие леса, в которых, в дни, когда Николай Лачинов шел походом на изыскания, целые села спрашивали его, — какая теперь власть в России, кончилась ли война и кто царствует на царском престоле? — такие горы, в которых золото дешевле хлеба, но дороже хлеба — му-нянь. — Когда Николай Лачинов сел в самолет, в гору от реки ползла подъемная дорога, внизу на берегу стояли баржи и пароходишко. Нагружали баржу бочками медного колчедана.

В поезде Николай Лачинов ехал с Обопынем. Обопынь пил водку и разболтался. Николай Лачинов с карандашем в руках расписывал свое московское время: ЦК, ВСНХ, НТУ, университет, книжные лавки, театры.

Во мраке вечера вдали впереди возникли огни Москвы, синие и зеленоватые, — флуоресцирующие, как определил Николай Лачинов. На вокзале ждал брат и отвез его в гостиницу.

Для Николая Лачинова Москва была столицей социализма, мужества, побед, строительства, коммунистической партии.

Александру Лачинову этот день расстроила Ядвига Фелициановна Петражицкая. По его представлениям этот день в Москве, как каждый день, за фасадами столицы, за вывесками и бодростью дел и свершений, имел свои задворки.

На задворках миллионного города круглые сутки, каждую ночь — в тот день — привезли, привозили — в институт Склифасовского, в Яузскую больницу, в Екатерининскую, в Александровскую — привозили — раненых пулей револьвера, не успевших умереть в виселице, не умерших от яда, — отравленных, зарезанных, подстреленных, избитых, задушенных. В институт Склифасовского свозили задворки миллионного города, потерявших смысл жизни, право на жизнь, честь и жизненный инстинкт, уходящих в смерть в сумасше-

ствии и от голода, от одиночества, от ненужности, от старости, от исковерканной молодости, поруганного мужества и оскверненного девичества, — свозили людей, обезображенных в драке, в алкоголе, в ревности, в грабеже, — молодых, старых, детей. Каждые пять минут к подъезду подходили кареты скорой помощи, и братья милосердия вытаскивали из них людей с размозженными черепами, истекающих кровью, в запекшейся мыльной пене отравы на губах и подбородках. Этих людей, из которых каждый, оставшись жить, умоляет вернуть ему жизнь, — этих людей на носилках растаскивали по операционным и покоям, чтобы вынимать из человеческого мяса и костей пули и ножи, чтобы заштопывать раны, вставлять на должное место вывихнутые кости, чтобы нейтрализовать яды, — с тем, чтобы — все же — большая часть этих людей к утру умерла, а оставшиеся в живых — вернулись к жизни калеками или полукалеками, — с тем, чтобы институт Склифасовского стонал всеми человеческими стонами и болями, которые приводят человека к смерти.

Александр Лачинов не знал суждений брата о витальной способности человека по сравнению с радием. Витальная способность радия, даже атома радия, не зависит от его возраста, ни биологического, ни тем более социального — это простейший закон радия, но не человека. Если бы природа выбирала из числа всех живущих на земле определенный процент тех, кто умрет в данное мгновение, независимо от возраста, если бы просто нужно было бы определенное число жертв, выбираемых совершенно случайно, тогда витальная способность человечества была бы подобной атому радия. Но на других задворках, в притонах Цветного бульвара, Страстной площади, Тверских-Ямских, Смоленского рынка, Серпуховской, Таганки, Сокольников, Петровского парка — или просто в притонах на тайных квартирах, в китайских прачечных, в цыганских чайных — собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить анашу и опий, нюхать эфир и кокаин, коллективно впрыскивать себе морфий и совокупляться. В подвалах нищенства людьми командовала российская горькая

под хлип гармоники. Бульвары и рынки командовались кокаином. Российский восток нирванствовал опиумом и анашой, засаленными нарами эротических снов перед приходом милиции. На задворках этажей и рублевого благополучия, ночами, мужчины в обществах „Черта в ступе“, или „Чертовой дюжины“, членские взносы вносили — женщинами, где в коврах, вине и скверных цветчишках женщины должны быть голыми. — И за морфием, анашой, водкой, кокаином, в этажах, на бульварах и в подвалах — было одно и то же: люди расплескивали человеческую — драгоценнейшую! — энергию, мозг, здоровье и волю. Но на третьих задворках, и на четвертых...

В те дни Александр Лачинов целыми пачками получал письма от своей незнакомой корреспондентки. Письма приходили из Средней Азии, из Таджикистана.

#### *Письмо первое*

Милый друг! — вновь пишу тебе.

Субтропики: 37-й — 41-й градусы северной широты. Памир, Горный Бадахшан, границы с Афганистаном, Индией и Китаем. Впрочем, эти субтропики имеют климат — от климата Новой Земли (на ледниках хребтов Зеравшанского, Гиссарского, Петра Первого, Дарвазского и на плато Памиров) до тропического климата Индии (в Курган-Тюбинской и в Кулябской долинах). На Памирах летом — морозы, а в долинах 78 — на солнце — Цельсия.

Высоты: Монблан — 4801 метр над уровнем океана, — Эльборус — 5619, — и Таджикистан: Пик Ленина — 7127, Пик Гармо — 7495. Впрочем, на Памирах (а Памир есть крыша мира) есть места, в районе хребта Академии Наук, о которых на картах пишется: неисследованная область. Кроме гор, у Таджикистана есть долины, обильные джунглями: эти долины в километре над уровнем океана. Таджикистан лег на Памир, подпер Индию и с Памира (с Памиров, как говорят там) хребтами Язгулемским, Ванчским, Дарвазским, Петра (это хребты Тянь-Шаня) сходит в долины, заливая их водами ледников и засыпая тысячелетями лесса.



На картах есть места, которые обозначены: неисследованные области, и тем не менее карты указывают различными условными знаками, с пометками, что разрабатывается (уже разрабатывается!) и что имеется в залежах: золото (очень много, по всей стране!), медь, свинец, железо, серный колчедан и сера (я видела гору серы, которую можно колупать и жечь), графит, нефть (разрабатывается), каменный уголь (и лежит, и разрабатывается, и — горит в одной из горных долин, горит уже сотню лет, породив мистические легенды, свойственные средневековью), азбест, соль (и в камне, который ломают ломами и подбирают лопатами, и никак не подбирают, — и в соленых растворах озер, откуда соль выпаривают), радий, фосфориты, рубины (те знаменитые индийские, воспетые поэтами), минеральные источники (и железистые, и сернистые, и щелочные, такие, от мороза которых ноют зубы, и такие, в которых вода кипит 96 градусами Реомюра и таджики варят баранов), — на картах указаны долины и в долинах — лесс, лесс, лесс.

Там же, где лесс: хлопчатник.

В джунглях на Пяндже (джунгля — по-таджикски, туган — по-русски) рыкают тигры.

На карте Таджикистана есть указания: неисследованные области, — и это вполне понятно, почему это так есть. Если бы Таджикистан лежал в Европе, о нем писали б поэты с Овидия иль Данта.

Но Таджикистан, по существу говоря, не был даже императорской русской колонией, — хуже: он был колонией бухарского эмирата, называясь Восточною Бухарою, и — десять, семь, пять лет назад — Таджикистан пребывал в жесточайшим средневековьи, таком же, как в Европе девятого-одиннадцатого веков, со средневековыми башнями замков, с сюзерено-вассально-баронской системой управления, в полнейшем бесправии крестьян (крестьяне называются декханами, и это слово перешло в русский язык на Востоке), в тех экономических отношениях, когда во всей Восточной Бухаре не было ни одного колеса, ни одной

телеги и дороги заменялись тропами, по которым проходили верблюды, ослы и лошади, — декхане существовали тем, что производили своим трудом, а дань платили девушками для гаремов и на продажу да золотом, которое промывали вручную. Эта страна пребывала в жесточайшей простоте бекских гаремов и в жесточайшей простоте нищеты декхан.

И эта страна была плацдармом последнего, жесточайшего боя средневековья за свое варварство, равно как ныне эта страна есть плацдарм боя за социализм. Пролетарская революция докатилась до Бухары только в 1920 году, когда в Бухаре возникла Бухарская Народная республика. Эмир Олим-Хан, последний из Мангитов, человек, окончивший императорский русский пажеский корпус, бежал в Восточную Бухару, подобрав с собою средневековье и оставляя за собою пепел и кровь. Целый год он скитался по Таджикистану, преследуемый революционными войсками. Он взял с собою караваны золота, ковров и халатов, которые он увел в Афганистан.

Эмир, окончивший пажеский корпус, взяв золото в караваны, потерял свой гарем, — и в каждом кишлаке, где он заночевывал, кишлак должен был поставить эмиру для постели семи-одиннадцатилетних мальчика и девочку. Я читала об этом документы и мне рассказывал один таджик, что в одну такую ночь в мечети, где заночевывал паж-эмир Олим-хан Мангит, умерла его сестра, семилетняя девочка.

Эмир бежал из Таджикистана, прогнанный революцией. Но вслед ему в Восточной Бухаре возник Энвер-паша, младотурецкий премьер, тесть падишаха, „святой генерал“. Энвер объявил газават, священную войну. Энвер мечтал о пантюркизме. В помощь Энверу пришли „сикхи“, англо-индусские войска. К Энверу приехали турецкие генералы. К Энверу перебежал, как бегали в средневековье, Усман Хаджаев, председатель ЦИК Бухарской Народной республики. Средневековье взяло свои мултуки (пищали, стреляющие при помощи фитиля); просвещенность Англии прислала, кроме солдат, одиннадцатизарядные винтовки. Город

Дюшамбе, ныне столица Таджикистана Сталинабад, был уничтожен Энвером; город Гиссар, средневековая столица Восточной Бухары, замок, был уничтожен Энвером.

Энвер закончил свою судьбу 4 августа 1922 г. революционной пулей в бою, — но только в ноябре 1926 года был созван первый — учредительный — Съезд Советов Таджикистана, который и есть начало советского летосчисления этой страны. Могила Энвера известна. На ней написано неграмотной рукой: „Проклятие тебе, Энвер, проклятие тебе на веки, пусть твоя могила сгорит, и тело твое съедят змеи и скорпионы, а душа твоя пойдет в самую гущу ада!“

От эмира и от Энвера остались: разбитые кишлаки и города, заброшенные поля, иссохшие и заболоченные ирригационные сооружения. Многие кишлаки были стерты с лица земли; города, имевшие тысячи жителей, остались с сотнями. Гиссар — столица — имел восемь тысяч жилых домов, но после Энвера в нем осталось всего семь семейств. Дюшамбе был в пыли пепла. Средневековье прощалось с собою так, как могло и умело: разорением, насилием, кровью, огнем, пеплом, — и в стране осталось всего 50 процентов бывшего там населения. В 1926 году, в ноябре, был первый учредительный Съезд Советов Таджикистана. Ныне Таджикистан — советская республика, седьмой по счету молодости входящая в Союз.

И ныне за Таджикистаном твердо укрепилось в быту название советского, социалистического Клондайка — Клондайка дел, темпов, быта. В эту страну, где пять лет тому назад не было ни одного колеса и нет их кое-где и по сей час, до Сталинабада и дальше в горы до Янги-Базара проведена железная дорога. Над этой страной, на севере связывая ее с Самаркандом и Ташкентом, а через них с Москвою, с юга связывая ее с Кабулом, а через Кабул — с Индией, летают самолеты — в Сталинабад, в Куляб, в Гарм — в Гарм, в котором сейчас нет ни одного колеса, но куда к весне будущего года придет шоссе. Когда в Гарм прилетел первый самолет, в ту минуту, когда его увидели в небе, от

разрыва сердца умерли три человека: две женщины и мужчина. Пять лет тому назад, говоря по существу, не было дорог. Сейчас веером от Сталинабада идут (и уже разбиты тракторами, и гудронировуются, и их уже не хватает) автомобильные дороги, проложенные по скалам инженерами и динамитом, — на Куляб, на Курган-Тюбе, на Гиссар, на Гарм, на Ура-Тюбе. Дороги лезут на перевалы вечных снегов. Пять лет тому назад в Таджикистане не было ни одной европейской школы, кроме двух миссионерско-церковных: сейчас там есть техникумы и втузы. Ныне там латинизированный шрифт.

Понятие — социалистический Клондайк, это понятие несоответственное, несоциалистическое. Клондайк — это капиталистическая анархия, стимул которой — личное обогащение, а Таджикистан это социализм на средневековье и его стимулирует наша, коллективная организация разумной, справедливой жизни.

Таджики, этот теснимый народ, живший некогда в долинах Средней Азии и на плоскогорьях Ирана, есть тот древний народ, который породил все иранские народы, всех европейцев. Этот народ был гоним персами времен Кира, Александром Македонским, арабами, монголами; последние, кто теснили таджиков, были узбеки. Таджики были оттеснены в горы, эти пращурь немцев, шведов и англичан; через тысячелетия таджики пронесли язык, имеющий общие слова с основными словами европейских языков и имеющий традиции, источники которых, казалось бы, затеряны у европейцев, — например, традиции красить яйца по весне и прыгать посредине лета через костры, — таджики веснами красят яйца, меняюь ими, ничего не подозревая о христианстве, средневековьем, магометанством и горами оторванные от мира, и таджики прыгают по русальным традициям через огонь, очищаясь от скверны. Слово „диво“, „дивус“ полатыни, на таджикском языке значит то же, что на русском — диво, дивный, — и таджиков в горах можно встретить — голубоглазых, точно они родились в Рязанском округе. В верованиях таджиков — магометан — сохранились следы

огнепоклонничества. Заратустра жив еще в памяти этого народа: он жил в пределах древнего Таджикистана. Таджики живут не только в пределах своей республики: не меньшее количество таджиков, чем в Таджикистане, живет у афганцев, в северной Индии, в памирском Китае.

Древность лежала камнями веков, традиции не подтекали под эти лежащие камни, средневековые здравствовало пять лет тому назад. И всюду, направо, налево, как горы с долинами, спутаны древности, средневековые, советская власть, аэроплан, университеты и паранджа — к слову надо сказать, что паранджою называется весь выходной костюм женщин, — волосяной же (мне хочется так выразиться: намордник) называется чашим-бандом. Средневековые и новое, новейшее, созданное человеком, нигде так не спутаны, как в этой путанице тысячелетий Таджикистана.

Доброй ночи, милый друг! — я очень устала от сегодняшней жары!

### *Письмо второе*

В газетах сообщалось о том, что в Таджикистане, в районе Янги-Базара, было землетрясение, убившее около двухсот человек и много — за тысячу человек — оставившее без крыши.

Я была в Янги-Базаре и в его горных районах. Погиб и Семигандж, этот горный кишлак, куда я ездила, чтобы видеть древность уже уходящую.

Социологическая проекция мне казалась несложной: субтропический климат Палестины, экономика бронзового века — Библия. Глаз подтверждал эту предпосылку. Мне указали древность, и товарищ Ниязов наркомзем ТаджССР, поехал со мною в кишлак Семигандж, оторванный отовсюду дорогами и временем. Семьдесят градусов зноя четырех часов дня сталинабадской жары запылили пылицами кулябское шоссе и зарывкали автомобилем на караваны. Так было до тех пор, пока автомобиль не уперся в лощину гор, недоступную автомобилю. Мы пересели на коней.

Кони понесли нас в горы, в шумы падающих с гор ручьев, в рощицы грецких орехов. Лошади звенели подковами о

камни тропинок. Гиссарская долина внизу — арыки Кафирнигана разрастались все шире и шире и уходили во мглу долинной пылищи. Подъем был крут, горные ключи падали водопадами.

Мы приехали в кишлак, где плоские крыши одних домов являлись дворами других, где все заглушалось шумом падающей воды и где шумел в чинарах и в громадах грецких орехов медленный ветер.

Это был Семигандж.

Высота подъема изменила воздух, сделав его сладостным, и изменила климат, принося прохладу.

Я была в средневековьи — и я была сама собою, потому что товарищ Ниазов, таджик из Дарваза, говорит по-русски так же, примерно, как я по-английски. Муж молчал как и я. У каждой мечети в кишлаках есть алаухана („комната огня“), предназначенная для приезжающих и для зимних досугов декхан, комната-гостиница, комната-клуб. Летом в Таджикиии лучше жить на воздухе под открытым небом, ибо в ханах — и очень душно, и по летам там живут скорпионы. Мы приехали на двор мечети в тот час, когда вопил мулла. Человек десять стариков по команде муллы падали сами себе в ноги, эти старики в халатах и чалмах, эти голубоглазые старики, которые, поседев, начинают походить на настоящих европейских стариков чертами своих лиц. Товарищ Ниазов был здесь своим человеком, — старики, отворачиваясь от молитвы, приветствовали. Двор мечети был вытопан копытами коней и ишаков, которые останавливались здесь на ночевку. Под чинарой разостланы были кошмы. Через двор, под чинарой и вниз под обрыв, протекал арык. Кишлак лежал под ногами. Вверху над головою поднимались вершины гор. Товарищ Ниазов провел меня в полутемное подземелье, сокрытое от посторонних глаз, — там падал, вделанный в колоб, студеный ключ, там было прохладно. Товарищ Ниазов библейски предложил мне смыть с себя пыль, сказав, что эта пещера сделана для путников. Я вспомнила арабские поселки в Палестине: те ощущения, которые

были у меня, были оставлены во мне чтением Библии. Я библейски смыла с себя пыль студенной водою.

Старики кончили молиться, приветствовать нас пришли комсомольцы. И у стариков и у комсомольцев на пальцах были кольца. У стариков за кушаки халатов были заткнуты цветы. Старик подарил цветок мне. По улице, зажатой глиняными стенами домов, где ни одно отверстие, кроме низенькой дверцы, не выходит на улицу, проезжали верхами на ослах с полей, с работы декхане. Пригнали стадо; женщины встречали своих овец и коров. Улица, этот желтый скучнейший песок, которым она была ограничена, ни одного окна; этот глиняный кишлак, построенный без единого гвоздя, где крыши одних домов были дворами других, где все сокрыто от глаза постороннего; эти ослы, на которых ехали мужчины, это стадо, которое встречали женщины в шальварах и паранджах, — все это было из Библии.

Старики разостлали нам кошму под чинарой; мы и старики сели на кошму, сняв уличную обувь, подогнув под себя ноги. На костре согрели чай. Солнце село быстро; костер заменил солнце. Чай разлили по пиалам в ожидании плова. Плов готовили здесь же, на костре, эти рис и баранину, приправленные специями. Обо мне забыли в разговоре; товарищ Ниязов не успевал переводить и бросил затем свои переводы. Подали плов. Мы, все вместе, ели плов руками; это — еда плова руками — такое же искусство, как искусство владеть европейскими ножом и вилкой и китайскими палочками. Я рассматривала (назавтра я это подтвердила, зашед в несколько домов в гости к вечерним друзьям) : в обиходе не было вещей от индустрии — даже нож, которым резали барана, был кустарного происхождения.

Я рассматривала комсомольцев и стариков, лица которых вырезаны были светом костра, — с эрэсэфэсерским крестьянином сравнить их нельзя — эрэсэфэсерский крестьянин причесывается фабричной, а не сделанной вручную, деревянной, гребенкой, у русского крестьянина полагается ложка, и ложка не похожа на папуасскую пирогу с веслом на

боку, как та одна-единственная, которой размешивали плов, пока варили, — у российского крестьянина стекла в окнах и на ногах какие-ни-какие сапоги, а не муки, состоящие из овечьей кожи и сшитые овечьими жилами, — но эрэсэфэсерца и таджика сравнить нельзя и потому, что жесты таджиков, их движения, их манера держаться и говорить, их сдержанность и медленное достоинство, цветы за кушаками их халатов, кольца на их пальцах — все это указывало на старую какую-то, освященную и утвержденную традициями (пусть отживающими) культуру, которой россиянин похвалиться не может. У моих собеседников всячески подчеркивалась эстетика. И разговоры, хоть я мало их и поняла, касались исключительно общих тем, общественных событий, разных сказок и присказок. Наутро к наркому приходили просители: в вечер плова не было их ни одного. Ни словом ни полупонамеком не касался разговор женщин, тех, которые скрыты паранджами и глинобитными дувалами (заборами) домов.

Ночь пришла криком ослов, этим ужасным криком, похожим на испорченный автомобильный гудок, когда шофер гудит в него, вызывая из дома на улицу запоздалого седока. Прокричал филин. Сильнее зашумела падающая вода. Воздух был необыкновенен своею прозрачностью; звезды нависли на горы — такое количество звезд, точно им тесно на небе и точно небу тяжело под ними; и к ребрам, с той стороны, куда не светили огни костра, подступил холод.

Нам принесли одеяла, подушки, ватные халаты. Старики и комсомольцы распрощались с нами до рассвета, прощались, прикладывая вместе сложенные руки к сердцу, и ушли. Мы остались втроем. Рядом хрустели сеном и позвякивали стременами лошади. На кошме мы разостлали одеяла, положив их под себя, и легли, прикрывшись ватными халатами. Звезды спустились к ветвям чинары. По существу говоря мы заснули вместе с солнцем и с библией, утвержденной криком ослов, заменяющих часы.

Утро нас разбудило воплями муллы и блистательным, всеободряющим солнцем. Горы нависли синевою вершин и



прохладю. Воздух мог колотиться как нарзан. Наши хозяева принесли нам в хурджилах винограду, яблок, фисташек, миндаля, нарванных в это утро. Мы пошли в гости. За каждой низенькой калиткой возникал мир, целый мир, ограниченный глинобитными стенами. Опять я видела библию — библию приветствий, библию домов, построенных средневековьем без гвоздя и молотка индустрии, библию конюшни, коровника, ослятника и овчарни, библию первобытнейшей бедности, омача вместо плуга, дыры в небо вместо окна в мазаных из глины домах, покатога двора с арыком — такого двора, который не предусмотрен для телеги, — свежих, сорванных и убитых в это утро — миндаля, винограда, бана. Женщины, когда мы входили во двор, испуганными мышами, пряча за локти лица, убегали на женские свои половины, которые не полагалось не только видеть, но и ощущать. У грудной девочки, которая осталась на кошме под навесом террасы, были наведены чернейшие брови и ногти ее были выкрашены в киноварь: я увидела, что и у многих мужчин ногти также накрашены. Женщины были в шальварах.

Я видела библейскую древность.

Газеты принесли известия о землетрясении, на основании которых, по всем вероятностям, надо полагать, что Семигандж разрушен, этот средневековый кишлак первобытного хозяйства и древних человеческих, варварских (паранджа! мечеть!) отношений. Сейчас — в землетрясении — средневековье разрушается геологией, космосом. Но во всей этой стране семь, десять лет назад было поголовное средневековье, — и я была в Гиссаре, чтобы увидеть средневековье.

Гиссар — столица гиссарского бекства, богатейшего в Восточной Бухаре; в честь Гиссара названы долина и горный хребет ледников; о Гиссаре писали древние. Восемь лет тому назад Гиссар был бекским замком. Восемь лет тому назад Гиссар был разрушен Энвером. В двадцать шестом году в Гиссаре жило всего семь семейств.

Мой конь нес меня хлопковыми плантациями Гиссарской долины. Конь пронес меня невероятным знанием дня. Я про-

ехала мимо кишлака прокаженных, и впереди в зное полдней я увидела холм над кишлаком и на холме развалины замка.

Я была одна.

Без дороги, рвами, я въехала в пыль и глиняные стены улицы. За разрушенным дувалом на огороде женщина кормила кур, — она была без покрывала и она не отвернулась от меня, глянув безразлично. Улица была пуста. Навстречу мне проехал таджик верхом на осле. Улица свернула направо, расширилась и превратилась в развалины. Я ехала кладбищем развалин. Я выехала на площадь с развалинами медресе. Я свернула к замку. Мой конь полез на подъем к крепостным воротам. Ворота были разрушены.

Я въехала в замок и — ничего, ни одного уцелевшего камня, ни одного уцелевшего рва, ни одной уцелевшей стены, — ни одного кустика, даже полыни не было, — ни одной, ни единой живой души, даже не было ящериц. Казалось, что люди отсюда ушли не восемь лет тому назад, а тысячелетие — смерть, пустыня, раскаленный зной. Я объехала обрывы стальных развалин. Восстановить прежнее возможности не было. С холма я видела развалины вокруг, — только в одном, новом месте стояло несколько белых европейских зданий под молодыми тополями — исполкома, школы, хлопзавода, — но это было новым, пришедшим после двадцать шестого года. В замке нечего было делать; я спустилась к развалинам города и поехала без улиц, с развалины на развалину. Все было мертво. Даже образа прежнего не было сил восстановить.

Так — Гиссаром, Энвером-пашою — средневековые простились с варварством — разрушением, от которого ничего не осталось, которое нельзя восстановить даже в фантазии. Власть средневековья ушла из своих замков так, что там не осталось даже полыни, даже ящерицы.

Я выехала за развалины и карьером помчала к холмам, к гиссарскому зерновому совхозу, где ждал меня мой муж. В развалинах Гиссара я ничего не оставила и ничего не за-

была. Конь мчал холмами, из края в край изборожденными сплошной пахотой совхоза. Пшеница была уже сжата. В ложине между холмов я увидела трактор, молотилку около него и многоэтажные горы соломы.

А через полчаса я спускалась, я сказала бы: к заводу совхоза; внизу под холмами стоял белый дом общежития, казармы конюшен и горбатый гараж, перед воротами которого выстроились в ряд тракторы. Арыки охватили огородные плантации. Земли в Гиссарской долине плодородны необычайно, до неправдоподобности: дерево вырастает здесь за год так, как в иных местах за пять лет. Завод совхоза был засажен аллеями деревьев, уже разросшихся. Мой муж, сводя коня на шаг (я гнала, чтобы стряхнуть с копыт коня пыль кишлака прокаженных и гиссарского замка), сказал мне, что весной прошлого года здесь ничего не было, кроме полыни.

Всего наилучшего!

### *Письмо третье*

Памяти о доисторическом человеке находятся около воды. История человечества, письменность, писанная история начались около ирригационных сооружений, вместе с ними. Средняя Азия рек Аму- и Сыр-Дарьи, равно как Ян-Цзы, Нил, Тигр и Евфрат, были колыбелью человеческих культур. Аму и Сыр протекают по Таджикистану, — Пяндж и Вахш, реки, которые, сливаясь, образуют Аму, суть основные водные артерии Таджикистана.

В долинном Таджикистане, там, где нет воды, там пустыня, зной, пески, ничто не растет, кроме саксаула, никто не живет, кроме черепах и ящериц, — смерть, ничто, пустыня. Там, в долинном Таджикистане, где есть вода, там фисташки, миндаль, грецкий орех, гранат, сотни сортов персика, винограда, всяческих фруктов, — арахис (китайские орешки, которые, оказывается, растут у корней и родина которых тропики — Бразилия), кенаф, кендырь, рами, джугара, люффа, клещевина, соя, сахарное сорго, сафлор, бамия, джунгут, гвайола, кастровые кусты (о каждом из этих

технических растений следует писать страницы, со справками, куда более сложными, чем о китайском орешке), — пшеница, рис, хлопок. Я перечислила никак не более одной пятидесятой растений и деревьев.

Вода породила историю человечества — и вода есть решающее в Таджикистане, как и во всей Средней Азии, ибо не только растения и животный мир, но и человек, не могут быть без воды. Человек севера не представляет себе, что такое ирригационные сооружения субтропиков.

Сооружениями, которые называются головами арыков и которые в старину делались десятками лет и тысячами людей под управлением полубожественных мирабов, навыками опыта, а ныне делаются инженерами и рабочими математическим расчетом, — от рек отводятся рукава, иной раз сами по себе представляющие реки, но эти реки текут по ложам, выверенным и прорытым человеком, и эти реки называются головными арыками. Направо и налево от головного арыка вырыты, и в голове своей, рассчитанной математически, вооружены бетонными (а иной раз и деревянными) щитами в роде тех, которые у северян бывают на мельницах, чтобы регулировать воду, — от головного арыка идут арыки второго порядка, от арыков второго порядка — порядка третьего, четвертого, пятого, — пока мельчайшие арыки не дойдут до полей. Если пустить воду сразу во все арыки второго порядка, вода сразу иссякнет, — также и с третьими и четвертыми, — и у техника, сменившего мираба, в голове арыка, — сложнейшие расчеты воды, на какое поле дать сегодня, на какое завтра, телеграммы, курьеры, нарочные, телефон.

При феодалах вода была основным рычагом крепостного права: мирабы феодализовали, вода продавалась отдельно от земли, — и вода стоила дороже земли, и мираб мог душить или не душить — тех, кто ратал на полях, поливаемых водой мираба. Советский Таджикистан национализировал воду, — и понятно, что вода, которая из древности тысячелетий, несмотря на мирабов, доставалась коллективным трудом

декхан, недоступная труду одного человека, выработала у декхан коллективистические инстинкты, а последние и есть залог успешного проведения колхозных мероприятий.

Древность и средневековые командовали водой по на выку опыта и традиций. Советский Таджикистан послал к воде гидротехников. Метеорологи, сменившие гидротехников, полезли в горы, чтобы узнать места рождения рек, изучить ледники, их историю, их образование, чтобы изучить климат ледниковых стран, рождающих реки, чтобы поставить там метеорологические станции. Гидротехники-практики, сменившие метеорологов, строят новые головные арыки, где водный расход точно учтен и вода подчинена человеку. Гидротехники, смененные агрономами, на мельчайших разветвлениях арыков, на полях и на опытных станциях изучают, отказываясь от традиций средневековья, способы рационального полива растений, — этих способов десятки, ученые проливают на них свои мозги, — способы фашинной поливки, способы фашинной покрывки борозд, способы завалки борозд, — расчет сроков подачи воды, расчет количества нужной воды, — расчет пахотных горизонтов. Все это надо проверить наукой и тем, что дает здесь природа, — и все это надо применить к трактору — к коллективному хозяйству — к социализму.

В Таджикистане на опытной станции имени Икрамова, под командой американца Фербея, изучают наиболее рациональные способы посадки, полива, выращивания хлопка, льна, арахиса, сорго — джугары — люффы (люффа — это тот огурец, из которого делают мочалки для мытья, люффу). На опытной станции при рисовом совхозе имени нынешнего предсовнаркома, товарища Абду-Рахима Ходжибаева, русские агрономы перетряхивают традиции тысячелетий, изучая сорта риса, способы их посадки и соответствие их таджикским долинам. Пять лет тому назад, два года тому назад — всего этого, этих станций, не было в Таджикистане.

Там, где вода, — там цветущие оазисы садов и плантаций. Там, где нет воды, там пустыня и смерть. Древние, когда на-

падали на эти страны, не брали городов, но разрушали головы арыков, оставляя тем самым города и оазисы без воды. Последними так делали императорские русские, когда завоевывали Среднюю Азию, — они пушками громили головные арыки.

В каждом городе Таджикистана, в каждом кишлаке, около каждого дома журчит арык, над арыками свешивают свои ветви чинары и урюк. Под старейшей чинарой в каждом кишлаке устроен хаус — бассейн. Над хаусом и под чинарой построена чайхана для отдыха в зной, ибо идеал таджика — по пословице — „ляб-и-хаус, у бог, у шамоль“ — пруд, сад и ветерок.

Я слышала об эпизоде, который вскрывает значимость воды. Это было с колхозом Стора-и-Сурх (Красная Звезда). Сто четыре человека с гор пришли в пустыню к ящерицам, переселенцы. Они пришли в земли, которые никогда не были заливаемы водой. Они пришли туда в так называемую зиму, в январе. Все было оформлено. Люди построили соломенные шалаши и стали работать. У них был настоящий энтузиазм. На пятистах га эти люди рыли арыки, несколько десятков метров больших и малых канав, строгая система ватерпасных расчетов. Этот колхоз должен был быть хлопковым колхозом. Сто четыре человека, пришедшие с гор, навсегда порвавшие с горами, принесли с собою в пустыню семена. В день, когда все было готово к поливу, когда труды десятков километров арыков были закончены, председатель колхоза, гордый, отнявший у пустыни пятьсот га, пошел в город, в водхоз, чтобы сказать, что все готово, и что, мол, пускайте воду, — и чиновник в водхозе, перерыв бумаги и таблицы, безразлично сказал, что колхозу Стора-и-Сурх вода дадена не будет. Не стоит комментировать слова чиновника, за которыми для колхоза стали: смерть, бессмысленность труда, сотни часов канав, зной и голод, — смерть! Несмотря на безразлично-усталый ответ чиновника воду колхозу дали, — и вот, когда вода появилась на полях колхоза, ее встречали все сто четыре человека, среди которых были дети и женщи-

ны, — вода прибывала, вода потекла по арыкам, — сто четыре человека, ночь и день ждавшие прихода воды, побежали за водой, крича только одно слово:

— Об! об! (вода! вода!) —

и — плача.

#### *Четвертое письмо*

Милый друг, я не писала тебе тысячу лет!..

Кураг-Тюбе, Арал, Джили-Куль, Кабадиан, Сарай-Комар, Пархар, Куляб, реки Кафирниган (неверный), Вахш (дикий), Кизыл-су (красная вода), впадающие в Пяндж, граничащие с Афганистаном, — области пестрейшего населения — таджиков, тюрков, туркменов, узбеков, локайцев, афганцев, индусов, арабов.

Это — места жесточайшей гражданской войны и строительства наново, где каждый город наново перестраивается, где строятся совхозы, колхозы сплошного хлопчатника и строятся заводы, новые ирригационные сооружения, гидростанция, куда через горные перевалы лезут дороги, а по дорогам — автомобили, телеги, ишаки, караваны верблюдов, люди на своих на двоих, удачники и неудачники, рабочие, инженеры, работницы, тысячи людей, зной, пыль, серая вода.

Автомобиль пришел к закату. Товарищ Л., мой муж и я — сели на форд, сунув в ноги свои котомки. Шофер, товарищ Николай, трижды обернул вокруг своей головы кепку, покрыл вселенную матом, неизвестно кого обозвал „з-зар-разою“ и повел машину. Тут сразу надо сказать, что шоферы в Таджикистане — разбойники и подвижники одновременно: таким был и товарищ Николай, машина у которого двигалась бензином и матом, при чем мат многожды перепедал и на нашу долю. Всю дорогу Николай утверждал, что дороги эти для ишаков, а не для автомобилей, и предлагал нам катиться на ишаках, — и он был полуправ.

Дорога, по которой мы ехали, пробита два года тому назад и разбита теперь вдребезги, — сейчас ее исправляют и гудронизируют, а ехать поэтому надо уже совсем без дороги — по ухабам обочины.

И пыль, пыль! — это понятие не только физическое — пыль есть вещь психического маразма. Пыль лежит по дороге — без преувеличений и без образов — на полметра. Шофер едет по пыли как по воде, потому что он не видит колдобин под пылью, а лессовая пыль легка как пух. Пыль из-под автомобиля летит густейшим дымом. Если ветер дует в спину, автомобиль не может идти, на каждой колдобине пыль обгоняет, и шофер не видит дороги, ничего не видит, даже руля, в дыму пыли. Но все равно, если ветер дует в лицо или в бок, все равно через три минуты езды, через пять минут ходьбы, все запорашивается пылью, этой библейской, которая заставляет сначала мыть ноги, затем все остальное. Пыль лезет в ноздри, рот, уши, глаза, за белье; от пыли в этом зное нет спасения, пыль действует как мания преследования. Но по дороге через небольшие километры обязательно прорвался арык, вода вытекла на дорогу, лессовая земля впитала в себя воду, — автомобиль влез в эти кисели, и автомобиль забуксовал, и шофер лезет по пояс в грязь обвязывать колеса веревками.

Обочинами гудронизирующегося шоссе мы подъехали к переправе через Кафирниган. И с той и с этой стороны стояли сотни людей, лошадей, верблюдов, ишаков, арб. Автомобили переправлялись без очереди. Наш Николай вцепился в горло шоферу с грузовика, пришедшего раньше, доказывая первенство циковской машины, — шофер с грузовика отматывал свое право утверждением, что он везет для банков деньги. Как от того берега к этому шел часа полтора. Автомобилей и шоферских воплей с того и с этого берега собралось по веренице, как брал по одному автомобилю. Мы видели, как обалдевшая в ожидании компания осетин решила на телеге переправиться вброд — через этот дикий, вырвавшийся с гор, неверный Кафирниган. Телегу опрокинуло сейчас же, люди закричали в ужасе, лошади разорвали постромки, — мимо нас со скоростью курьерского пролетела телега, сундучки с добрами, котомки, мешок с зерном, — по берегу карьером, на карьере раздеваясь, помчали таджики, чтобы вplashь вылавливать добро.



Это было в июле. Когда я в августе еще раз переезжала через Кафирниган, там построен был мост и никакого скопища людей не было.

За Кафирниганом, помаявшись москитным удушьем джунглей мы полезли в горы Бабатага, в лессовые выжженные солнцем морщины земли. Солнце в Таджикии садится сразу, сразу приходит мрак. В кишлаке Кокташ в школе поевропейски ярко горели окна, а у чай-ханы стояли автомобили с тюками. Шоферы и путники советовали не ломать голов и заночевывать.

Мы полезли на перевал. Над нами были громадные звезды, да фонари автомобиля вырывали у мрака обвалы скал, дорогу, пробитую динамитом, караваны верблюдов, фисташковые заросли. Перевал назывался Пограбадским. Наверху задул холодный ветер, перебрал лопатки. В полночь мы спускались в ущелье Даганаки. Этой весной по этому ущелью прошли силевые (снеговые, горные) воды, разрушили дорогу, разбили грузовик и трактор, не успевшие спастись, сломали все на своем пути. В узком ущельи само небо превратилось в щель; мороз перебирал лопатки; машина жуком лезла по глыбам камней, навороченным силем; фонари щетинили понурые стены ущелья. Около шоссейной станции в ущельи была чай-хана. На кошмах спали люди, погонщики верблюдов, шоферы, бригада трактористов. С перевала, из Даганикиского ущелья погнал нас мороз.

В Уялах, опять в лессе, мы долго стучали в ворота хлоп-пункта, милиционер-таджик не понимал по-русски. Нас провели под навес, где горами свалены были семена хлопка, мягкие, покрытые пухом ваты, и теплые. Я зарылась в зерно, оставив воздуху (и москитам) только нос. На рассвете мои спутники, до синевы изъеденные москитами, разбудили меня, чтобы я послушала шакалов. Шакалы воют отвратительно, этот вой нестерпимо-подхалимственен, — шакалы выли под самым забором, в десяти шагах от нас.

С рассветом, когда солнце победоносно несло зной, мы поехали дальше. Широчайшим простором легли перед нами

долины — Яванская, Курган-Тюбинская. Влево осталась дорога на Арал (остров). Арал есть район сплошной коллективизации, на машинотракторной станции там сто пятьдесят тракторов-интернационалов.

Налево из ущелья вырвался Вахш (этот дикий); там, в ущельи, идут изыскания и туда подвозят материалы для строительства гидростанции, которая осветит и наполнит силой это золотое дно вахшских долин. Автомобиль шел к вахшской переправе, где я и мой спутник должны были расстаться с ним. На минуту в небе над землей, над пылью, в зное возник фантастический город: мираж. Вершины гор оставались позади. Очень далеко в горах белел снег.

В удушьи, в раскаленном зное, когда единственное желание — пить! пить! пить! — мы подъехали к вахшской переправе. На этом берегу Вахша у переправы (с той стороны в двенадцати верстах город Курган-Тюбе) возникло целое поселение под брезентом и тесом — дортрансовский гараж, несколько складов, заваленных всяческими материалами, столовая, чайные, опять склады, отделение милиции, кибитки, шалаши, палатки — и около них больше тысячи идущих и едущих людей. Зрелище являло собою обстоятельства совершенно необыкновенные: это не было ни базаром, ни ярмаркой, ни городом, ни табором, и было всем этим вместе взятым. Под обрывом с ревом, быстротою курьерского гоня воды, мчался — дикий — Вахш. Вода была серой от взбаломученного ила. По воде текли — в зное субтропического июля — куски льда, сорванного с гор. Мы приехали к семи утра, — только к трем часам пришел первый каюк. За эти часы я видела изнанку Таджикистана, которая все же мне кажется положительной. За эти часы мой спутник потерял равновесие духа, решил бросить свое путешествие и возвращаться на автомобиле обратно. На берегу было смешение народов — таджики, русские, турки, арабы, афганцы, лезгинны, татары — люди, пришедшие работать и уходящие с работы. В столовой под тэнтом, за кушаньем, которое называется по-таджикски ералаш, собрались инженеры, изыскатели,

статистики. В Курган-тюбинской долине, равно как и в Кулябской, запрещена торговля водкой: между людьми шмыгали спиртоносы.

Сойдя с машины я пошла к реке. От реки несло просто-ром, буюм и холодом. На пригорке в двух шагах от меня стоял милиционер, в тюбетейке, в форменной гимнастерке, в розовых трусиках, с наганом, в ичигах.

За забором стоял рабочий-сезонник. Он вынул из кармана газетину, развернул ее, вынул из нее пачку двадцатирублевков, очень солидную, отсчитал две двадцатирублевки, — не оглядываясь крикнул:

— Эй!

Подбежал осетин.

— Бутылку! — молвил рабочий и сел на землю в тень забора — ожидать.

Под тэнт столовой прибежал весельчак, крикнул:

— Идите смотреть, как тонуть будут!

Ожидание каюка — вещь утомительная, особенно когда нет уверенности, что ты на него попадешь хотя б завтра, в порядке живой очереди. На том и на этом берегу сидели таджики с турсуками — с бурдюками, надутыми воздухом. Таджики-турсукчи (перевозчики) предлагали свои услуги: на турсуках, привязанных к палкам, они перевозили людей на тот берег. Для этого надо было раздеться, сесть и ухватиться за турсуки, проститься со всем земным и мчаться по воде в расчете, что течение выбросит на тот берег. Таджики переносят лед воды; так называемые там европейцы — русские — получают от этой ледяной воды сердечные разрывы: в среднем в те дни на Вахше мерло от турсучных переправ (и от аварий, и от сердечных разрывов) по человеку в сутки.

Мы вышли к берегу посмотреть на очередных смертников. Два таджика и трое русских прилаживались на этом, в квадратную сажень, турсучно-палочном пароме. Вода сразу оторвала от берега людей, понесла, обдала волной. Один из русских закричал истошным ужасом, — их пронесло мимо выступа на том берегу, куда причаливал каюк. Знающие люди сказали:

— Теперь их верст пятнадцать понесет. Опасное место пролетели. Теперь неизвестно, заоченеют или нет.

Мой спутник в этом месте окончательно решил возвращаться обратно — к превеликому неудовольствию шофера Николая. Каюк пришел к трем часам. Каюк шел так же, как турсуки, — волею течения. Каюк на Вахше — большая баржа. Сотнею бурлаков каюк заводится высоко вверх, в место, где течение от одного берега идет к другому. Там он перегружается и летит к другому берегу (а иногда и пролетает мимо, подобно турсукам).

На том берегу бурлаки тащат каюк опять вверх по течению. На каюк нагрузили сельскохозяйственные машины, грузовик, бидоны с бензином, товары для кооперации, людей с мандатами. Пловцы взмолились аллаху. Рулевые закричали дикими птицами непонятных слов и российским матом. Мы полетели сломя голову на тот берег.

Эти места суть жемчужины Таджикистана, это — золотое дно хлопковых долин. Отсюда идут миллионы пудов хлопка, здесь производятся крупнейшие строительства Таджикистана. Этот район — без дорог. Вахш, Пяндж — Аму-Дарья — не могут разрешить дорожного вопроса: эти реки колоссальнейшего водного расхода неприменимы для нормального судоходства еще и потому, что их русла каждодневно, каждодневно меняют свои рельефы: там, где час тому назад были глубины, сейчас мели; там, где час тому назад были мели, сейчас глубины. Даже там, где посажен хлопок и земля считается твердой, вдруг из-под земли приходит Вахш или Пяндж, хватает людей на полях, и людей находят потом за десятки километров вниз по течению этих рек. Эти реки еще не окончательно родились. Дорога до Курган-Тюбе гидронирруется, — мост через Вахш строится, будет построен к ноябрю этого года. Для Вахша и Пянджа строятся специальные очень сильные и плоскодонные мотор-боты (которые главную часть времени, нарушая всякие обусловленные сроки, будут сидеть на мелях).

От Вахша до Курган-Тюбе — пыль, пыль, пыль, тугаи,

хлопчатник. Курган-Тюбе — как все города Таджикистана: из развалин библейского, средневекового кишлака (курган-тюбинский замок разбит подобно гиссарскому) возникли белые дома: исполкома, больницы, почто-телеграфа, хлопкоочистительного завода, школ, агропункта, общежитий, прочее. Командуют городом — Вахшская изыскательная партия и совхоз Вахш. Вахшской изыскательной партии мы привезли радость — сообщение, что в Сталинабаде получены телеграммы от СТО и Совнаркома СССР о том, что партия должна приступить от изысканий к строительству.

Мы приехали в партию. Огромный двор с одной-единственной избушкой, со множеством тэнтов, под которыми разместились гараж, мастерские, конюшни, и с несколькими юртами, в которых жили изыскатели, являл собою табор. Начальник партии отвел нас, приехавших из пылевого паморока, под душ, за соломенную загородку, — сообщил, что главинж лежит в папатадже, что сегодня — вечер перед выходным днем и народы собирались поехать на кабанью охоту, — не присоединимся ли и мы?

Вахшская изыскательная партия, которая ныне переименована в Вахшское ирригационное строительство, командовала водой, строила воду. Я была, томясь зноем и седлом, на головах арычных систем Джайбора, и Джили-Куля, построенных древностью. Через год эти древности будут заменены инженерией.

Табор штаба партии то наполнялся, то опросторивался телегами и караванами изыскателей: на сотнях квадратных километров вокруг, по всему треугольнику, образуемому горами и реками Вахшем и Пянджем, ходили двадцать один мензульный отряд, два трассировочных, два буровых, отряд по съемке арычной сети, гидрометрия, гидрология, геология. Я была в штабе и в бодрой поспешности штаба, разместившегося под тэнтом на досчатом столе, где рассыпанной колодою карт вокруг стола, кроме бидонов от бензина с чертежными досками, разместились кровати изыскателей. Гидроэлектрострой (никак не смешивать с партией) проектирует заковать

Вахш на триста пятьдесят тысяч киловатт, — партия строит свои две гидростанции — на пятьдесят и на десять тысяч тех же киловатт: для хлопковых заводов и для механического оборудования ирригационной системы.

Вечером, под лампой-молния, в смерчах совершенно необыкновенных бабочек, собрались изыскатели. Расход Вахша (водной расход) — средний годовой — две тысячи кубометров, меженный — зимний — двести. Сейчас орошено Джайбором и Джили-Кулем — двадцать восемь тысяч га. Вахшское строительство оросит: брутто (вместе с тяжелой мелиорацией) сто пятьдесят тысяч га, нетто (хлопка) — сто двадцать. Вопрос о Вахшском строительстве возник год назад, закончено строительство будет через год. Растет египтянин (египетский хлопчатник), — деньги есть, проекты готовы. Нету дорог, дорог, способов переброски грузов.

Дороги и москиты! — в папатадже, в малярии каждодневно тридцать процентов изыскателей валяются с ног, — но те, что сидят за столом и пьют чай-кабуд (зеленый), в этой тропической ночи, — очень бодрый народ.

Тропическая ночь. Чай. Из темноты приехал верховой, передал телеграмму: прислан, привезен лямкою на каюке из Термеза экскаватор, первый, — радость и: как его тащить? В ночь (чтобы не маяться зноем) уехал за сто км в Пянджу верховой принимать экскаватор, грузы. Скальных выемок — сто сорок четыре тысячи кубометров.

— Железная дорога необходима, иначе наше строительство наполовину обесмысливается, ибо всего хлопка, который здесь уродится, нельзя будет вывезти.

— А жаль, что на кабанов не съездили, — сейчас ели бы свинину. Будете ехать дальше, увидите среди хлопка глиняные башни для одного-двух человек: это декхане построили, чтобы спастись от кабанов.

Тропическая ночь. Чай. В темноту приехал грузовик; около керосинных фонарей стал забирать продовольствие, нагрузился, ушел в темноту, повез провизию по отрядам. Вооруженный помощник шофера выругался в темноте, я услышала конец фразы:

— ... то басмачи, а теперь кабаны!..

Я заметила, что о басмачах говорят так же, как и о кабанах. Секач — существо страшное: это — старый кабан, бывший вожак стада и оплодотворитель его, которого прогнал более молодой; изгнанный, секач покидает стадо, ходит одиноко, он свиреп и он нападает на все движущееся, а клыки у секача размером до четверти аршина.

По примеру таджиков, и европейцы на сон предпочитают подкладывать под себя кошмы; на шерсть кошм не залезают ни каракурт, ни скорпион, ни фаланга, ни таранул. Но москиты в воздухе — мириады — бесконечное количество различных образцов, от бабочки, величиною с ладонь вместе с пальцами, до невидимых, но несущих папатадж существ. Я заснула под звездами, заполнившими небо.

Наутро я пошла к хозяину Вахшинской долины — к хлопку — в совхоз Вахш. Город совхоза разместился в древней мечети и в ее пристройках. Медресе стало общежитием (рядом с ним выстроены белые европейские домики с громадными террасами); хана для приезжающих применилась под красный уголок, столовая поместилась под хаусом. Сама мечеть являла собою переполненную контору, наполненную конторскими людьми и рабочими, разделенная тощими перегородками. В мечети щелкали счеты и трещала машинка. Заведующего совхозом, товарища Сундатова, я застала на некоей террасе, против гаража на конном дворе. Он пил чай-кабуд, отирая ребром ладони обильный пот, и рассматривал чертежи двух буксиров, которые будут таскать грузы по Аму и Вахшу. Товарищ Сундатов был всем недоволен — тем недовольством людей, которые любят преуменьшать, чтобы выиграть, и которые знают, что выиграют, — и разговор начался — от чертежей — с дорог.

— Это же ведь не дороги! — три месяца в году — дорог нет никаких, когда льют дожди: ведь этот самый лесс так расплзается, что в нем тонуть можно и даже необходимо. А шофера — говоря попросту — бандиты! — держат нас в терро-ре, гнать их надо в шею, и нельзя. А из-за них-то у тракто-

ров бензину нету, а то так завезут, что не хватает резервных баков. Между прочим, эти самые баки мы просим-просим, а их не дают, — отказали даже в керосиновых складах. И еще надо заметить, что совхоз — организация беспартийная, а бюджет у нас десять миллионов, больше чем у города, — ну, и грабят нас все, как шофера, особенно исполкомщики, — беднейший народ, — то им то, то им се. На лошадях им развезжать, видишь ты, скучно, — каждый день автомобиль просят, — прямо скажу, выгодней легковой автомобиль держать в ремонте, я иной раз сам велю колесо отвинчивать. Небось; и вы автомобильчик потребуете? — Не дам! сломан! — пойдет на границу грузовик, езжайте, — а легковой — сломан! — Вы сосчитайте. Совхоз организовался в марте прошлого года, обработали мы четыреста га, из них под хлопчатником — триста двадцать. В этом году семь тысяч четыреста десять га, из них под хлопчатником пять тысяч триста пятьдесят три. Средний проектный урожай сто пудов, — фактический будет меньше, — ну, возьмем все-таки сто, — пятьсот тридцать тысяч пудов, полмиллиона пудов урожая. Примите во внимание, что хлопок, даже очищенный от зерна, есть вата, а грузовиков у меня семь штук, — ясное дело, либо сгною, либо потоплю на буксирах. У меня две с половиной тысячи рабочих, десять агрономов, конторщики, семьдесят два трактора, восемьсот лошадей, — их кормить надо. Организации мне не помогают. Местные — автомобильчик просят да кроме того надо — не надо украли у меня девять тысяч пудов хлеба! Что я с ними подедаю?! Ну, а ваши, ресефесерские?! — прислали мне на окучку сибиряков-переселенцев, кто без руки, кто без ноги, старичье, — из тысячи на работе только тридцать процентов, а надо полив производить, окучку, работа горит, я хочу выйти из дела с успехом. Бабью историю знаете?!

Товарищ Сундатов утирал пот со лба. Ежеминутно к нему — на эту случайную террасу, где он застрял со мною, — приходили люди с большими и малыми делами. Агроном с хутора номер первый сообщал о положении на опытном поле, о семеноводческих посевах, — товарищ Сундатов покряхты-



вал; из слов агронома я поняла, что дела в полнейшем порядке. Приносили телеграммы. Принесли контрольные цифры на будущий год, — собственно, уже не контрольные цифры, а рабочий проект, ибо на будущий год уже приготавливаются земли: земель у совхоза будет восемнадцать тысяч га в будущем году и больше ста тысяч через два года.

Я напомнила товарищу Сундатову, что четыре года тому назад здесь не было ни одной коробки хлопка (коробкой называется хлопчатниковый плод, из которого добывается хлопок и количеством которого на кусте измеряется урожайность). Товарищ Сундатов ответил не по существу:

— Был я рабочим — отправили бы меня на прежнее место, — а то, вишь, на конный двор забрался, и тут меня находят, не дают собраться с мозгами.

Товарищ Сундатов ответил не чистосердечно: он был горд своим делом.

— Что вы собираетесь ехать на хутор номер первый? — Вы поезжайте на хутор Якодин, — прорыв! — Вы послушайте, как мы живем, — не жизнь, а землетрясение. О дорогах оговорено. Народ — кроме таджиков, у меня их процентов семьдесят, — жулье, особенно счетный состав, бегают за длинным рублем, — один такой завел себе медвежонка, ходил с ним в контору, пугал всех, а дома пьянствовал — опять-таки пополам с медвежонком. Народ — прямо разбойники, сами удостоверитесь, какой в Таджикистане народ. Дальше. Начнем хотя бы с весны, — трактора прислали, а плугов к ним нет, — шлем телеграммы, гоним курьеров, не спим ночей, караулим на переправе, — нет и нет! — И даже вестей нет никаких. Когда, наконец, пришли, пришлось работать трактористам круглые сутки, пахали во сне! Вдруг обозначилось, что не хватает горючего. И так все время, то хлеб не довезен, то хлеб исполкомщики свистнули, то строительные материалы застряли на том берегу. Сейчас у нас новых два дела: во-первых, с бабами, которые прорвали фронт, во-вторых — с водой. Неделю тому назад чистая война была, — курьеры мчатся, телеграммы летят, ночей никто не спит, дело идет

врукопашную: паводок на Вахше разворотил голову Джайбора, вода поперла куда не надо, а куда надо — там засуха, у хлопчатника лист начал сворачиваться. Я целую неделю не спал, Джайбор зачинивали день и ночь безостановочно. Правду сказать, наладили, но какие еще предстоят непредвиденности — неизвестно. Может, например, прилететь саранча.

Мы пошли осматривать город совхоза. Товарищ Сундатов всем был недоволен. Он показал мне план, по которому строится городок — новый городок — совхоза, где предусмотрено все: от ванн для рабочих до яслей для детей посреди парка.

Я собиралась поехать на плантации, на хутора номер первый и третий и к головам магистральных арыков. Товарищ Сундатов сказал:

— Может, все-таки, дать автомобильчик? — и рассмеялся добродушнейше.

Я поехала верхом. Мне уже привычно было томиться в раскаленном зное солнца, пряча голову под тропический шлем и испивая воду из каждого встречного арыка, ужаснейшую воду. Хутор номер первый, возникший в пустыне, уже остроился белыми домиками. Гараж стоял, как в российских степных селеньях стоят скирды хлеба или элеваторы, поднимаясь надо всем. С десятником мы проехали десятка полтора километров полей, где направо и налево глаз терялся в египтянине, по поводу которого десятник говорил, что он даст не десять коробочек, а восемнадцать, — то-есть даст с *га* не сто пудов, в которые не верил товарищ Сундатов, а сто восемьдесят. Мы ехали по арыкам, прыгая через них по надобности, — направо и налево росли в лужах воды прямые, тракторные ряды хлопчатникового куста, уже с коробочками — с теми коробочками, пух из которых, свезенный верблюдами к хлопкоочистительным заводам, очищенный от семян на этих заводах, спрессованный, отвезенный к железным дорогам автомобилем и опять верблюдом, свезенный поездами в Москву, в Иваново-Вознесенск, в Орехово-Зуево, на химические заводы, даст ситец, сарпинку, кофточки,

рубашки, платки, простыни, на химических заводах — взрывчатые вещества, на бумажных — высочайшие сорта бумаги, на фармацевтических — гигроскопическую вату, — даст рубли и освободит рубли от американских долларов, за которые американцы продают свой хлопок.

И через два дня я снова томилась удушьем пространств. Грузовик нес нас к границе, к городу Сарай-Комар, к древней величественной реке Пяндж, имя которой волновало мое воображение с детства. За Джили-Кулем на семьдесят километров легла пустыня, в которой, в выжженных пространствах, мы видели множество миражей. Видели стадо джайранов: в этой пустыне, в джунглях Пянжда, пасутся дикие лошади. Эта пустыня будет залита вахшскими ирригаторами. Ветер дул в спину автомобиля, и автомобиль полз ощупью, задыхаясь пылью, грузовик, амовская полутонна. Пыль создавала состояние маразма; люди начинали походить на небывалую новую серую расу; в пустыне иссушал зной. С нами ехали направлявшиеся в Афганистан кооператоры, скупщики лошадей; они везли с собой седла: я примостила два седла одно на другое и ехала верхом, — по той дороге, по которой я ехала на автомобиле и верхом одновременно — куда сложнее было уберечь ребра, чем просто верхом даже на горных перевалах!

Джали-Куль есть город смешения народов — узбеки, таджики, татары, казаки, киргизы, арабы, афганцы, турки — роды, племена, колена, кровная месть, — а за всем за этим, на развалинах старого, — новый хлопковый завод, школа, больница, караван-сарай. Поразил меня некий европейский чин в Джили-Куле; он проходил по улице в тропическом шлеме, в круглых громадных очках, в одних единственных трусах на всем теле, в сандалиях и с портфелем.

Сейчас же за Джили-Кулем мы обогнали полчища огар каракулевой овцы: овцы принадлежали каракулевому совхозу, они перегонялись на горные пастбища.

На автомобиле ехали — врач, судья военно-революционного трибунала, фельдъегерь, вахшстроевский инженер (все

время по дороге этот инженер показывал на шалашики в пустыне, называя номера партий, работавших около этих шалашных баз). В Джили-Куле подсели к нам два мудрых человека, которых ничем нельзя было удивить: два почтово-телеграфных деятеля, которые вот уже пятый месяц ежедневно едут и проедут еще три месяца, из кишлака в кишлак, с гор в долины, с долин в горы, по всему Таджикистану, изучая и налаживая почтово-телеграфную связь. Эти люди, загоревшие до негритянского состояния кожи, блаженствовали в автомобиле, выпили с ведро квасу и рассказывали о том, как дней пять тому назад они так застряли в горах, что бросили на леднике лошадей и целых полторы суток ползли со льдов на четвереньках; на полдороге эти два человека бросили нас и пошли в сторону, по направлению к слиянию Вахша и Пянджа, пешком, здесь, в пустыне, ухитрившись найти место для почтовой конторы. Врач рассказывал о базедовой болезни, о зобах, которыми в этих местах, по предгорьям, равно как и на Памире, хворают целые кишлаки.

Вдруг за миражами в зное возникла действительность: просторы Пянджа, земли за Пянджем, Афганистан. Через час мы ели дыни в Файзабад-Кала и обливались из душа на дворе хлопкоочистительного завода. Еще через час я опустилась (или поднялась?) в чудесность, в жизнь пограничников, в разговоры о тиграх, в дозорные тропы от заставы к заставе на границе, от комендатуры к комендатуре — в жизнь, которую нельзя уже назвать клойндакской, но — майн-ридовской, киплингвской.

Через неделю тогда я вернулась к Клондайку. В Пархаре, под чинарой в чайхане, на кошмах я встретила партию инженеров, которые приступили к странному строительству: они — не строят, но уничтожают целую реку Беш-Капу, ту самую, через которую за час до встречи с этими инженерами мы переправлялись на бурдюках, средневековым способом, каждую минуту намереваясь отдать душу господу! — эти инженеры приступили к уничтожению целой реки, сбрасывая ее

воды в Пяндж, потому что эта река заболачивала джунгли, те самые джунгли, в которых пасутся кабаны и рыскают барсы и тигры, — эти джунгли можно, разболотив, отдать хлопку, уничтожив Майн-Рида и Киплинга.

А еще через двое суток тогда, перевалив через плато Кичи-Тиран, полюбовавшись с него беспредельностью кулябской долины, я приехала в окружной город Куляб, с электричеством, с шумами заводских моторов, с толпами народа, с парком и бульваром для прогулок, — тот самый Куляб, который лежал в пепле после Энвера. В столовой рядом со мною обедали члены экспедиции Тропического института, врачи, приехавшие сюда изучать тропическую малярию, персидский тиф и папатадж. В городе происходила окружная партийная конференция. В исполкоме обсуждался вопрос о шелковой проблеме, о количестве сданных коконов, о постройке шелкокрутильного и гренажного заводов: шелк шел второй очередью за хлопком.

Из Куляба в Сталинабад летают самолеты, — и в Сталинабад я улетела, в сорок пять минут покрыв то расстояние, что на лошадях делается в пять дней. В Сталинабаде я взяла цифры и учебники географии, чтобы проверить себя. Цифры, которые возрастают только сотнями и тысячами процентов, я беру как образы.

Учебник географии Таджикистана (проф. Маллицкий, Тадж. ГИЗ, 1929), равно как цифры, подтвердил мною рассказанное. Географ называет округа средневековой терминологией — вилайетами. Географ отмечает память таджиков о их бездорожьях, когда один из спусков к Вахшу до сих пор называется Дондон-Шиканом, что значит — разбитые зубы. Географ рассказывает легенды об ирригационных сооружениях, когда они начинались дедами и не были закончены при внуках. Географ рассказывает о зноях Курган-тюбинской долины, что „это самая высокая температура воздуха, которая вообще наблюдается на земном шаре, именно в африканской пустыне Сахаре и в Месопотамии (в Багдаде)“. Географ рассказывает о растительности джунглей, где, кроме тысячи видов тростников и камышей, растут джида, тамариск, ту-

172

рангыл; где живут каракурты, скарабеи, очковые и гремучие змеи, крокодилоподобные ящерцы-вараны (которые достигают роста двух метров и не боятся человека, шипя на человека подобно мотору); гиены, шакалы, антилопы, олени, одичавшие лошади, барсы, тигры. Географ рассказывает об остатках древней письменности, указывающей, что здесь командовала культура Индии, — рассказывает о смешенном населении этих долин, о войнах, которые разрушали эти долины, о конях победителей, когда везде, „куда достанет нога катаганского коня, ни мертвый не имеет савана ни живой отечества“. Последнею такою конскою ногою был Энверпаша. Географ рассказывает о судьбах хлопка и риса. О Кулябской долине географ рассказывает, что некогда она была могущественнейшим государством индусской образованности, под названием Хатлан, — и до сих пор этот край есть богатейший в Таджикистане, и до сих пор от древних здесь, в горах Хазрет-и-Ша и по долинам рек, копают и моют золото таджики. Горы Хазрет-и-Ша состоят из золотоносных конгломератов. От древности таджики, чтобы добывать золото, объединялись артелями от ста до трехсот человек. Для того, чтобы добраться до слоя конгломератов с наибольшим количеством золота, артельщики строили водопады, которые смывали верхние слои песка, копали шахты, прокапывали отводные каналы, трудились по множеству лет с одной и той же жилой. Географ рассказывает о залежах каменной соли и азбеста.

Самолет поднял меня из Куляба и понес над горами в Сталинабад, в этот фантастический город, командующий Таджикистаном. Самолет перелетал горы. Направо величественно вершины и перевалы вечного снега, древнее величие Припамирья.

Милый друг — это письмо о таджикских домиках напоминает скорее дневник, чем письмо. Так это и есть на самом деле. Значит, все время думала о тебе!

*Письмо пятое*

Милый друг, снова пишу о Таджикиии.

Басмачи, как знаменитые актеры, также имеют свои имена и славы. В Таджикистане всем известны имена басмаческих курбаши Ибрагима-бека и Файзуллы Максума. Эти милостивые государи были сподвижниками Энвера-паши; ныне они проживают в Афганистане, „точа свои кинжалы“. Я не стала бы засорять память их именами если б судьба каждого из них не была поучительна для басмачества и средневековья. Файзулла Максум — бывший каратегинский бай, родоначальник большого племени; но Ибрагим-бек никогда не был ни беком ни баем, а был вором, причем вором узаконенным.

Ибрагим-бек, прямо сказать, натура даже поэтическая и трогательная, рожденная средневековьем в большей мере, чем бай Файзулла. До революции, при эмирате, когда Ибрагим был узаконенным конокрадом, как конокрад от терял однажды право на конокрачество из-за лирической любви к жене мельника, которую неудачно воровал, чем провинился перед начальством, и которой достиг только после того, как издурачил окончательно Энвера, арестовав его чужими руками и своими руками торжественно освободив. Ибрагим, — локаец.

Десять лет тому назад в Таджикистане, в Восточной Бухаре, здравствовал эмир. Эмирская система правления заключалась в том, что эмир посылал по бекствам на кормление беков: бекам жалованья не полагалось, но, наоборот, беки платили жалованье эмиру, собирая деньги с баев, кои в свою очередь драли последнюю рубашку с населения. Это было общее правило. Но были и исключения, свойственные средневековью, аналогичные тому, что было в Московии с казаками, когда казаки платили царям дань, получая за то обычаем освященные права грабить; таким же правом пользовались от эмира в Восточной Бухаре локайцы — узбекское племя, расположившееся в горах Бабатага, вокруг Кокташа, считавшееся разбойничьим, само себя разбойничьим почитавшее, проживавшее вольно полукочевым способом, платившее эмиру дань и конокрадствовавшее по чистой совести и по

традициям отцов. Мораль есть вещь относительная, особенно если она освящена „святым законом старины“. И каким поленом можно вколотить истину о том, что грабеж — есть грабеж, вколотить в голову Ибрагима-бека, честного, можно сказать, локайца, который воровал и грабил — законно и справедливо?! (Когда он несправедливо воровал — например, жену мельника, — он сам знал, что это несправедливость, и каялся!) Воровство и грабеж по средневековому праву есть экономика — суть экономические отношения, когда эмир законно без жалованья посылал грабить беков, которые и грабили, и давал право локайцам и прочим воровать. Ибрагим-бек перестанет грабить только в одном случае: когда он умрет, — он или его время — все равно. Линия ибрагим-бековского басмачества умрет вместе с окончательной смертью средневековья в Таджикистане.

Беки жили — семь лет тому назад! — в замках. Верно-подданные энного бека разводили каракулевую овцу; верно-подданные мэнного бека разводили каракулевую овцу. Для того чтобы получить наилучший каракуль — каракульчу, надо овце-матери разрезать брюхо за три дня до нормальных родов. Резать брюхо овцам, своими руками вскормленным, вспоенным и выхоленным, — невыгодно да и тяжело средневековому сердцу, существующему по морали, утверждающей благо когда украл и утверждающей зло когда украли у меня! Но каракульча — есть ценность! Поэтому кишлак энного бека, иной раз во главе с самим беком, темною ночью нападал на отару кишлака мэнного бека, чтобы резать овечьи брюха, при чем нападал иной раз в те самые ночи, когда кишлак мэнного бека резал овец энных. Чистейшая экономика!

И до сих пор, ежели Ибрагимы-беки приступают к своему ремеслу (в газетах пишут — „появилась басмаческая шайка в таком-районе“), то приступают они к нему в строго указанные числа, главным образом когда они свободны от сельскохозяйственных работ.

Теперешний, советский судья жаловался:

— Подите, посудите их! Шлешь подсудимому через ми-



лицию повестку; милиционер ее вручил честь-но-честь. Подсудимый говорит: „сейчас приду, вот соберусь и приду!“ — а сам оседлал коня да в горы, да либо в Китай, либо в Афганистан к басмачам. Пойди, поймай его в горах! В долинах, конечно, граница охраняется, — а пойдя убереги ее на Памире!

(Об этом судье надо в скобках сказать, — он же говорил, что часто к нему приходят судиться афганцы, и обвиняемый, и обвинитель, и свидетели все вместе. Обстоятельство объяснимо просто: в афганском суде средневековые еще здравствует; прежде чем прийти к судье, надо нести ему взятку, которая и предрешает исход дела, но которая стоит всегда дороже самого дела. И афганская беднота ходит в советский суд за справедливостью кроме всего прочего потому, что взятки здесь платить не полагается. Эти уж скобки имеют отношение к вопросу о басмачах тем, что указывают естественное расслоение классов!)

Теперьшний советский работник приезжает иной раз в глухой кишлак, спрашивает декханина:

— Вы член ширката (с.-х. товарищества)?

Декханин отвечает: — Нет, не член.

— А как же тут написано, что вы получили кредит и контраковались? Вы деньги под шелковые коконы получали?

— Получал, да, но не из ширката.

— А откуда?

— От мулло Худай Назара.

— Это кто же такой мулло?

— А вот он! — декханин показал на секретаря ширката, — вот он наш мулло!

Мулло оказался проводителем мероприятий советской власти!

Но вот к начальству приходит старец, библейский, благообразный; из старца сыплется песок; старец божески глуп, старец говорит:

— Я уже совсем стар. Когда лежу — не могу сидеть. Когда сижу — не могу двигаться. Когда стою — не могу лечь. А

когда сейчас вижу тебя, начальник, я так рад, что не вмещаюсь в свою кожу от радости, да благословит тебя Аллах! — А ты думаешь, что я враг советской власти! — Я пришел тебе сказать, что я моему племени не велю делать... того-то и того-то.

Старец есть старейший в роде. Старец глуп от Бога, но он помнит шариат, и ему удобнее покоить кости в эмирских понятиях, — он любит начальство так, что не вмещается от радости в свою собственную кожу восточной вежливости. Но начальству вдруг он предлагает то снять председателя сельсовета, потому что тот его не слушается и не угождает, то посадить туда-то таких-то баев, сердечно сообщая, переполненный радостью, что в противном случае такие-то и такие-то умрут, просто-напросто умрут по воле Аллаха. А у себя в кишлаке старец разговаривает иначе. Иной раз он приходит в джам-совет, в суд, в кооперацию и говорит просто:

— Если не будете меня слушать, подниму моих джигитов и всех вас арестую! — И больше ничего!

Тремя абзацами выше написано о секретаре ширката. Тот, естественно, ходит к старцу за спросом:

— Что, батюшка, прикажете делать и как, батюшка, поступать?

Все совершенно естественно в этой „естественности“ средневековья, бывшего вчера!

Это письмо я начала историей Ибрагима-бека и ибрагимовбековскими причинами басмачества; сейчас я пришла к корням басмачества файзулла-максумовского басмачества—класса гонимых из Таджикистана баев, беков, мулл. Этим народам везет: им недалеко бегать за границу, где в Афганистане они оказываются в своей тарелке и где в Индии их голубят англичане. Пускай везет! — тем паче, что взамен им к таджикам из-за границы приходят те, кому по пути с социалистическим Таджикистаном.

Граница с Афганистаном идет в Таджикиии по Пянджу, сползая с Памира, и эта граница представляется мне отвесной не потому, что она обрывается отвесами гор, между кото-

рыми течет Пяндж, но потому, что этой границей обрываются социализм в средневековье, средневековье — социализмом. Вдоль границы живут пограничники, которые хранят Пяндж.

На пограничников возложено караулить басмачей. Я лично басмачей не видала, — разве на фотографиях, — но пограничники подарили мне ружье, отобранное у басмача. Ружье называется — мултук: это даже не кремневое, но фитильное ружье, самопал в пуд весом, из которого стреляют с треноги, как при Тарасе Бульбе.

Амовская полуторатоннка остановилась на сарайкомарской площади. Зной превращал площадь в тропики, зной сделал азиатские улочки пустыми. Пыль лежала на моих щеках, на лбу, на ресницах и на белом моем костюме так, что все стало желтым как лесс. Я взяла мою котомку за плечи и пошла разыскивать штаб погранотряда. В моем бумажнике хранилась бумага о том, что мне предоставлено право пребывать в запрещенной пограничной полосе.

Ворот никаких не было. Сразу за дувалом возник чудесный столетний парк. Аллея вела к пустому небу. Направо и налево под платанами белели военные летние палатки. Я пошла по аллеям к небу. В конце аллеи — широчайшим пологом полегли долины Пянджа, джунгли, за Пянджем — Афганистан, афганский городок, у самого берега Пянджа — афганский пограничный пункт, — за горами была Индия. Границы всегда таинственны, места творения темных дел.

Начальник отряда товарищ Б. встретил меня как старую знакомую.

— Пойдем покупаться на реку или удобнее под колодецем? — моя жена больна к сожалению, — у нас коллективный огород, сажаем русские огурцы, капусту (о капусте здесь ведь никто не знает); жена полола помидоры, была наша очередь, и доработалась до теплового удара. Помойтесь, сходим посмотреть наше хозяйство, — и тогда готов будет чай.

Я сочла за благо мыться из ведра у колодца. Сейчас же после воды мы пошли к Пянджу. Сейчас же под домом, под обрывом начинались тугаи, — джунгал, — джунгли! Над голо-

вами зазвенели мириады различнейших москитов, завывали, застонали, — задушил сырой зной, закружил голову сотнями запахов. Камыш и ветвистый тростник, завитый, спутанный десятками различнейших вьющихся растений, саподки, мия, турангыл, джида, кендырь, гребенчик, тамариск, белые пахучие цветы плюща, — эти растения стояли сплошной дышащей стеной, сокрыли нас, свисли над нами.

Солнце садится в Таджикистане быстро. Солнце шло к закату. Кричали болотные птицы. Из-под наших ног взлетали стаями фазаны. С закатом закричали жабы, лягушки, зазвенели цикады.

Мы вышли к Пянджу, Пяндж ревел под ногами.

На ночи, когда в джунглях начинают жить звери, люди уходят отсюда, — ночами здесь рыщут тигры и по болотцам бегают фосфорические синие огни. Впрочем, люди и не живут в джунглях, в которых каждую минуту можно заблудиться и в которых здравствует малярия.

Мы задержались над Пянджем, над тугаями, следя за их жизнью с обрыва. По зимам в эти тугаи прилетают с севера от нас, из таежных областей, с тундры, с арктических островов гуси и лебеди, чтобы зимовать здесь. Здесь стадами живут кабаны, олени, одичавшие лошади. Солнце садилось за горы всем своим субтропическим величием. Джунгли готовились к ночной своей жизни.

— Сейчас завоют шакалы и будут мяукать рыси и дикие кошки, — сказал товарищ Б. И действительно за две минуты до заката солнца из джунглей понеслись отвратительные, плачущие, стонущие, напоминающие крик задыхающегося ребенка, вои шакалов. — Отсюда можно иной раз слышать рев тигра, — сказал товарищ Б. — В этом году пограничники убили трех тигров; одного из них мы послали в подарок товарищу Сталину. Таджики называют тигров джул-барс — барсами из джунглей. Сейчас же после заката тигры идут на свою работу. Всегда около тигра живет кара-кулак, камышевая рысь, которая беспрестанно визжит и мяукает еще ужаснее, чем выдра. Своим мяуканьем она навлекает на себя

хищников, которых бьет тигр, — она питается тем, что остается от тигра. Если вы услышите этот ужасный ее вой, знайте, что рядом тигр.

Я прислушалась к джунглям. Из мрака, который пришел сразу за закатом солнца, неслись тысячи звуков необыкновенной, первобытной жизни. Так в молчании мы стояли четверть часа, съедаемые москитами.

А вечером мы пошли в сарай-комарский клуб — на ту самую пустую площадь, на которой я покинула в западни автомобиль. Сейчас эта площадь, сплошь заставленная столиками и застланная кошмами для таджиков и афганцев, являла собою сплошную чайхану. Палительное солнце Припамирья сейчас же за своим уходом несет прохладу отдыха. За столиками сидели пограничники, на кошмах сидели и полулежали таджики. Одни ели плов или шашлык, другие пили чай-кабуд. Крышею было небо, где звездам было тесно от бесконечного их количества.

За нашим столиком слово держал товарищ М., которого прозывали Максумом. Штаб отряда, который походил на помещичью усадьбу, командовал тысячью километров границы. В усадьбе была тишина, но по границе, по дозорам и пикетам, сидели красноармейцы, караулили таинственность границы, контрабандистов, басмачей. Мы пили чай под крышею неба. Товарищ Максум провел в Таджикистане все годы гражданской войны, — и Максумом его прозвали потому, что он сам стал походить на таджика, говоря на всех таджикских наречиях, приняв быт таджиков, да и проживая среди них. Мне до встречи с товарищем Максумом были известны обыкновенные истории, когда на отряд басмачей в сорок человек нападали семеро красноармейцев и разгоняли басмачей. Слыхала я об одном краском, который сам-три, он да двое красноармейцев, приняли атаку двадцати басмачей, рубились так, что убито было семь басмачей, оба красноармейца также были убиты. Краском, израненный, остался победителем, отправлен был на Кавказ залечивать раны и получил от начальства нагоняй за храбрость. Товарищ Максум пил

чай-кабуд не спеша, отираясь полотенцем, и говорил не спеша о временах, когда он гнал „бухэмира“, как говорил он сокращенно, и рассказывал разные вещи по поводу, кстати. Например:

— К собакам, знаете, надо относиться с уважением. Сколько раз собаки мне жизнь спасали. Один раз пришлось мне заночевать в чайхане, неподалече отсюда; было это в году двадцать четвертом, в войну, одним словом. Кишлак расположен на горе, чайхана — на обрыве; с этой стороны дувала нет. Застрял я в этом кишлаке один, без товарищей. Заночевали в чайхане я да еще двое русских, штатских, хотя оружие при всех было: две винтовки, наганы, при мне гранаты. Хозяин ушел из чайханы к себе домой, к жене, что ли. Сплю, винтовка и гранаты под голову. Спим на террасе. Терраска, знаете, на возвышении. И вдруг слышу во сне — скулит собака, жалобно так скулит и беспокойно. Открыл глаза. Луна светит... Извините меня, я тоже вот помню случай: ночевали в разбитом кишлаке, ни души в нем нет, только наш дозор человек пять устроились на ночлег. Вечером также луна светила; я вышел на двор, собрался зайти за разбитое дувало, забыл по какому делу, — подхожу, а на меня с той стороны тигр смотрит: глаза на лунном свете вроде слезятся. Я даже забыл, по какому делу за дувало собрался, — считаю с тех пор, что второй раз живу на этом свете, не помню, как жив остался... Ну, так вот. Открыл глаза. Двое моих русских спят, и истошно так воет собачка. И вижу на дворе, в тени, в обход к террасе ползут гуськом басмачи. Будить русских я не стал, все равно, знаете, думаю, как гранатку брошу, проснутся, а пока надо выждать положение: думаю, как подойдут к лесенке на терраску, я гранатку и брошу им под ноги. Наблюдаю — ползет человек пятнадцать. Соображаю, в кишлаке есть сочувствующие, — либо сами помогут, либо слетают в Куляб — там наша часть стояла (это, знаете, около Куляба было). Действительно, бросил гранатку. Они там под лестницей завизжали, басмачи, а русские сразу сели и руки к лицам: сразу видать, штатские. Я им говорю — басмачи, отстре-

ливайтесь с умом, чтобы патрон хватило, а то зарежут. А они, как услышали про басмачей, опять легли и лежат как мертвые. Я их тревожить не стал: „время терпит, — думаю, — пусть очухаются; потом, — думаю, — вот ведь народ какой!“ — Зарежут, — говорю им, — вас голыми руками. — Басмачи тем временем засели кто где и начали обстреливать нас. Я не спешу. Высунулся один; я его положил. Ранили меня в плечо. Стреляют пачками, конечно бестолково, но отстреливаться надо. Я говорю русскому, у которого винтовка: дай, мол, твою винтовку, а мою заряди, мне некогда, — а он не двигается. Я ему еще раз сказал, молчит. „Вот сукин сын,“ — думаю, — или убит?“ Я тогда взял да стрельнул ему в ж... из нагана, чтобы оживить: сразу задвигался (я, конечно, его чуток подранил), подал винтовку, а мою зарядил. Стреляем так минут двадцать; с рукой мне трудно, помощи нет. Я говорю другому русскому:

— Прыгай с терраски прямо под обрыв, беги за помощью, а мы тут побудем.

Целую ночь отстреливались. С тех пор я ни одной собаке зла не делаю. И еще много случаев было, когда собаки меня спасали. Знаете, собаки в нашей жизни очень важное дело. Басмачи тогда на рассвете от меня отстали, преследовать их я не мог. А про собак — так я вам про нашего Бабая расскажу. Видели, может, у нас в отряде желтый такой пес с отрезанными ушами и со сломанным хвостом. Ведь этот Бабай умнее многих людей. Днем он предпочтительно лежит в арыке, весь в воде, только голова наружу, — это для прохлады и от moskitov. А то, извините, есть у нас тут один афганец, которого всякие гады кусают, а он не умирает. Каракурт, знаете, кусает, кобра, фаланга, скорпион. Да, впрочем, я его сейчас позову.

Товарищ Максум крикнул в темноту по-таджикски.

— Сейчас его позовут, — сказал товарищ Максум. — Бабай днем лежит в арыке, а как наступает темнота, он собирает всех отрядских собак и разводит их по постам; верст двадцать пройдет по границе, до соседней комендатуры, и

везде, где надо, расставляет собак на караул: у пикетов, у дозоров, а то прямо по своему усмотрению. С вечера он их разведет, — ночью сходит, посмотрит, — ежели какая собака заснула, он ее зубами за ухо, да так натрепит, что та век будет помнить. К рассвету Бабай всех собак собирает и ведет к кухне завтракать, а потом собаки до вечера живут вольно. Сколько красноармейцам жизни спасли эти собаки, сколько контриков переловили — не сосчитать. Красноармеец проходит, так человек, рыбак — собаки ведь внимания не обращают, а ежели басмач или контрабандист — прямо нельзя понять, как узнают! Если много басмачей или контрабандистов, они бегут в отряд с тревогой. А то вдруг Бабай пропадает дня на три, на неделю, вернется похудавший, изодранный, голодный, — один раз пришел со сломанным хвостом, это он ходит по всей границе, где наш отряд расположен, чуть ли не до самого Памира, — контролирует собак, как они себя ведут на комендатурах или по заставам, учит их, наставляет, все ли в порядке, прямо, знаете, как начальник отряда. Все собаки его уважают, и характер, знаете, у Бабая строгий и справедливый. Один раз Бабай привел в штаб кабаненка, вел его за ухо. А в Мерве был пес, вроде Бабая, так тот на поезде ездил в Кушку наводить собачий порядок.

Рядом где-то заиграл военный оркестр.

— Афганцы сейчас наберутся к берегу музыку слушать, — сказал товарищ Б. — Наш оркестр очень хорошо слышно в Афгании.

Подходил к нашему столу средних лет Тарас Бульба, знаменитый в отряде тем, что он убил шестьсот штук кабанов. Пришел афганец, сухой, стройный, молодой красавец, в чалме, в красном халате, — человек, который не умирал от укусов гадов, — присел к нам, по-русски он не говорил.

— Вот этот самый мой приятель и не умирает от гадов, — сказал товарищ Максум знакомя и заговорил по-афгански. — Жаль, нету при нем сейчас коробочки какой-нибудь — он подарил бы вам. А каракуртика, знаете, повезите уж от нас на память, — сказал товарищ Максум.



Афганец пошел добывать каракурта, укусы которого смертельны. Товарищ Максум рассказал историю своего приятеля. Афганец. Его профессия — удивлять людей тем, что он не мрет от укуса гадов. Он, этот афганец, был в Персии, в Индии, в Китае, кроме Таджикистана и своей родины. Он не только не умирает от гадов, но он умеет их находить и подсвистывать. Сейчас он работает на Таджикгосторг сдавая туда кожи змей и варанов, пустынных крокодилов-ящеров. Этот афганец принял свою профессию от отца, от отцов. Эта профессия не умирать от укуса гадов пришла из древности: отцы учили детей, иные дети умирали, но остававшиеся в живых были *иммунны* к укусам гадов. Афганец вернулся с коробочкой от экспортного монпасье Моссельпрома за пазухой и с каракуртом в руке. Каракурта пустили на стол. Пограничники и я отодвинулись от стола. Афганец дал каракурту немного побегать по столу и убрал его в мосельпромовскую коробочку вместе с его гнездом, похожим на грецкий орех. Я почтительно положила коробочку в карман, чтобы отвезти каракурта в Москву.

Афганец попрощался с нами, приложив руки к груди. Оркестр стих. Товарищ Максим заговорил:

— А я, знаете, расскажу вам еще одно дело про гадов. У нас тут опиекурильщики есть...

Мы вернулись в штаб, в парк. Внизу во мраке ревел Пяндж. Во мраке лежал Афганистан. Этот погранотряд охранял почти тысячу километров. Границы, разделяющие народообразования, всегда таинственны. Какие дела творились в тот час на границе? какие мысли были у пограничников в пикетах?

Товарищ Б. сказал перед сном:

— Очень надоедают нам здесь крысы и термиты. Я покажу вам завтра, какие квартиры настроили себе крысы около арыков. Нам присылали крысиный тиф, но он портился в дороге. Ведь почта к нам идет около месяца.

Следующий день у меня прошел в отдыхе, одиночестве и сне. А в три часа ночи, чтобы до солнца, до зноя перевалить

через безводный хребет Кара-тау, мы ушли в поход. Мы отправлялись на самую дальнюю комендатуру. С нами ехали помощник начальника комендатуры, товарищ Ю., и красноармеец, товарищ Нагорный, украинец родом. Ночь была черна как сажа. В темноте парка мы приладили вещи к седлам; лошади позвякивали удилами. Лошади пошли в сажу ночи. Шагом и в безмолвии границы мы выехали за кишлак. — Рыснем, — сказал товарищ Ю. — И мы пошли крупной рысью, опять-таки в сажу, ровным плато, до подгорий. Залаяли в темноте собаки. Подъехали к пеплу костров; рядом была кибитка. Окликнул дозорный.

К слову, кибитками называются вовсе не кибитки в русском понятии этого слова, а местные глиняные дома, которые сами таджики называют ханами, причем товарищ Ю. о своей квартире говорил, что у него две кибитки и кухня, то-есть две комнаты и кухня.

Как в сажу мы полезли в горы. Товарищ Ю. ехал впереди меня. Николай и муж — сзади. Так мы ехали всю дорогу. В десяти шагах я не видела товарища Ю., следуя за ним по слуху. Хотелось спать, и ноги притерпливались к седлу. Нам предстояли пятьдесят километров перехода без отдыха и с одним термосом воды. Позвякивали подковы лошадей о камень, позвякивали удила. Ни звука не было в мертвых горах, убитых безводьем. Там, где дорога позволяла, товарищ Ю. говорил: „рыснем“, и мы шли рысью, походным аллюром.

Рассветы в Таджикистане приходят так же, как закаты, — очень быстро. Вдруг я увидела очертание вершины и различила во мраке силуэт товарища Ю. Через четверть часа небо было уже зелено, и я видела вокруг мертвую пустыню выжженных желтых камней и песков, сирость, убогость смерти, и не понимала, каким образом здесь, где нет ни одной травинки, растут запыленные и пожухлые фисташковые деревья. На иных деревьях на сучьях висели пестрые ленточки: это были мазары — священные деревья, и эти белые, красные, зеленые, синие тряпочки были оставлены непонятно про-

ходящими верующими, непонятно потому, что эти места были в запрещенной полосе. Еще через четверть часа палил зной. Ни единого человека не встретили мы на своем пути, и только на спуске повстречался нам военный автомобиль.

Мы приехали в зной к реке Кизыл-су. На заставе там, испив множество чашек чая, мы легли в прохладе и темноте конюшни спать, в расчете превратить ночи в дни, чтобы не страдать зноем, оставив для дня лишь переход по острову Утра-Джунгал. Однажды такую же ночью, как сажа, уже под самую той комендатурой, которая была конечной целью нашего похода и где начальствовал товарищ Ю., был со мною такой случай. Надо было бы, по существу говоря, переночевать. Товарищ Ю. спешил к дому. Мы перебирались через последний перевал. Были полночь и звезды вокруг. Много раз уже было так, что мы пробирались тропинками над пропастями, в высотах, а внизу под нами жили кишлаки. Переход за те сутки был километров в семьдесят. Мы ехали молча, в усталости. Должно быть я сидела на коне и спала. Я проснулась... Звезды. Совершенный мрак. Цоканье подков. И рядом, внизу, в километре отвеса я увидела огоньки кишлака. Впереди товарищ Ю. закурил папиросу: стало вдвойне темно. Тогда я подумала, что надо лошадь отвести вправо от обрыва, чтобы не свалиться. Я повела левой рукой, в которой были поводья, чтобы отодвинуть лошадь — лошадь не послушалась. За моим коленом были огоньки кишлака. — Пойдешь же ты у меня! — сказала я вслух и повела поводьями строго. Лошадь не слушалась. Товарищ Ю. бросил папиросу вправо и замахнул нагайкой, папироса не упала на землю, но летит, летит, летит. Из темноты я услышала сонный голос товарища Ю.: — Вы поосторожней. Здесь с обеих сторон пропасти.

Мой конь, которому я хотела помешать идти, выручил меня от того полета в пропасть, который сама я себе готовила.

В одном месте после зноя Урта-джунгал, мы переправлялись на турсуках через Беш-Капу. На раму, связанную веревками и положенную на бурдюки, мы сложили наши вещи,

седла, оружие. Таджик-перевозчик привязал одного из наших коней за хвост к плоту, сел на него верхом (другой таджик других коней повел вплавь). Конь, привязанный за хвост к плоту, был тою силою, которая управляла нами. Таджик управлял конем. Секрет управления заключался в том, чтобы лошадь, на стрежне, в курьерском ледяной воды, обезумев в инстинкте самосохранения, не бросилась на плот: тогда с плота в воду валятся люди (вещи привязаны) и гибнут.

В Урта-джунгал мы двинулись в зной, на этот остров джунглей. Когда мы спускались с гор к джунглям около Кизыл-су, мы видели стадо кабанов, уходивших в горы на отдых... Зной, нестерпимый зной!

Тропа, хотя она считается проезжей дорогой, видна в трех шагах впереди; направо и налево свисают листья — эти стрелообразные листья болотных растений — камыша, тростника. Они бьют по лицу, через них я вижу зеленую фуражку товарища Ю. да круп его лошади. Мы едем в камыши как в стену. Из-под ног взлетают фазаны. Зной, нестерпимое удушье. Мириады насекомых летают над головами коней и нашими. Направо и налево непролазные стены камыша, поистине непролазные, ибо куст в куст стоят сплошною, задышающею стеной и все перевито лианами плющей.

Здесь, кроме зверей, могут только быть пограничники; поэтому товарищ Ю. очень внимательно и очень озабоченно изучал афганский халат, брошенный на дороге, а с ближайшей заставы помчались всадники и собаки разыскать того, кто бросил халат. Когда мало-мальски раздвигались тростники, товарищ Ю. говорил: „рыснем!“ — и по нашим лицам бил тростник. Иной раз под ногами возникали ручьи, мы ехали километрами по воде. Рядом, невидимый, ревел Пяндж. Однажды, когда товарищ Ю. сказал „рыснем!“ и нас хлестал тростник, вдруг фуражка товарища Ю. и круп его коня исчезли передо мною, а через секунду я видела, как уши моего коня покрыла вода, и ощутила, как вода сорвала мой шлем. Корни камышей и тростника, сплетаемые ве-

ками, крепче земли; Пяндж подмывает землю под корнями, — и вот Пяндж появляется среди тростников в нежданно-негаданном месте. Я не успела осознать, что я окунулась в воду, как конь мой вынес меня на дерн дороги и понес вперед карьером, пока не наткнулся на взмыленного коня товарища Ю. Кони храпели; мы были мокры как мыши. Этой ночью по этой тропинке проходили дозоры; за какие-то часы Пяндж вылез на тропинку из-под земли. Мы выжимали, съедаемые москитами, воду из нашей одежды и долго ждали товарища Нагорного и мужа, которые, увидев, как мы ныряли в воду, должны были превратиться в путешественников, открывающих новые земли и, на конях, искали и прокладывали новую дорогу, рубя камыши шашкой.

В тот день к ночи мы добрались до комендатуры, до отдыха, мылись, пили, отдыхали. При нас вернулись первые дозоры с пикетов, и красноармеец в темноте у коновязи, расседывая лошадь, украинец, на своем языке, стиль которого я не могу передать, рассказывал: — Иду я на коне в темноте и думаю: „Осенью у меня конец службы. Дома у старика хата“... А у меня у седла оторвалось крыло. Винтовка за спиной. Крыло в руке. И вдруг из-за куста на меня — прэвэльский кіт! — пролетел мимо моей груди, над головой коня, я его крылом по усам хлопнул, а сам подумал: „вот тебе и старикова хата!“... „Прэвэльский кіт“ — это: громадный кот! На красноармейца прыгал или тигр или барс, — этого не разобрал сам красноармеец, не установив, кого он бил по усам крылом от седла. Мне рассказали тогда, установленное из практики, что, если тигр или барс бросаются на жертву и промахиваются, они оставляют жертву в покое, если сама жертва не нападает на них, как это делают охотники.

Зной! вода! Сколько воды я испила за этот поход! и какой! — я пила из арыков, из луж, пила из лужи в тот самый момент, когда туда мочилась корова. Зной! вода! переутомление похода! — я спала на земле под солнцем, в конюшнях застав, в юртах, в кибитках красноармейцев. По дороге мне показывали гору, сплошь состоящую из соли; место где

красноармейцы-украинцы, криворожцы, нашли каменный уголь и отапливаются им без всяких заявок; гору азбеста; показывали мне речку, где роют кустари-таджики золото. По горам, у рек, в джунглях, на комендатурах, заставах, на пикетах живут замечательные люди, которые называются пограничниками, — живут тем бытом, которому посвящена эта глава. Видела я на границе контрабандистов. Видела я на границе моих соотечественников, которые хотели бежать за границу. Их два типа. Тип первый мне симпатичен, второго мне жалко. Первым по возрасту — от семнадцати до двадцати пяти лет; среди них были даже комсомольцы, которые в своих сердцах везли в Индию революцию; это люди, начитавшиеся Майн-Рида и Киплинга, фантазеры, охотники за кобрами, йогисты и прочее. Тип второй — это люди обязательно от сорока лет и тоже, должно быть, мечтатели. Я расскажу судьбу одного такого, с которым я разговаривала. Московский бухгалтер, сорок семь лет, немецкая фамилия. Через Москву в течение нескольких лет он пересылал маленькие доллары в Индию. Он покинул Москву, подписав договор на работу в Таджикистане. Он поселился в приграничном городке, работал в кооперации, жил у таджика. На дворе у себя он вырыл бассейн и в течение полугода учился плавать на турсуке. Он выступал в кооперации завзятым советским деятелем, чтобы отвлечь от себя подозрение. Он изучал таджикский язык, чтобы с ним не пропасть в Афганистане; еще в Москве он изучил язык английский, чтобы не пропасть в Индии. Все было предусмотрено. В тот час, когда он разделся на берегу Пянджа, чтобы пянджескою водою смыть с себя прах Союза Социалистических Республик, — к нему подошел пограничник и сказал заботливо: — Идемте, гражданин Л.!

На последней комендатуре, где помначальствовал товарищ Ю., откуда я покидала границу, я встретилась с моим коллегой, с писателем, с человеком, заваленным книгами и книгами бредящим, — здесь, откуда до Москвы ехать три недели и куда почта идет полтора месяца. С товарищем К.

я вела там странные разговоры о том, жениться ли ему на таджичке, — он обуславливал эту женитьбу (а оба они любили) возможностью повезти жену в Москву, чтобы она училась, чтобы затем в Таджикистане была лишняя культурная женщина. В этой комендатуре, уже в горах, где вся красноармейская мебель сделана из ящиков от патронов, где люди живут уже бытом горного, а не долинного Таджикистана, красноармейцы показывали мне школу, которую они сделали для таджикских детей, коконосушильную фабрику. И какими замечательными пирогами угощала меня на комендатуре жена товарища Ю.: никогда в жизни не ела таких пирогов на кабаньем сале!

Товарищ же Максум в штабе отряда, на площади, которая была превращена в ночную чайхану, рассказывал мне о гадах и об опиуме. Опиум, этот сок мака, который превращает людей в маньяков и убивает людей, окружен таинственностью средневековья так же, как пантовые рога и корень жен-шень. Для тех, кто курит опиум, он дороже золота, потому что опиум можно выкурить, а золото съесть нельзя, да и рыночная цена опиума дороже золота. Разведение опиума запрещено, но опиум разводят: для этого в горах находят потаенные площадки, в непроходимых местах; поэтому часто в непроходимых местах гор находят истлевшие трупы, около опийных площадок, тех людей, которые сажали опийный мак, но которых проследили другие опийщики и убили, чтобы собрать опий. Сырой опий есть сок головок опийного мака. Для того, чтобы опийный сок был хорош, чтобы его не спалило, не испортило солнце, надо надрезы на маковых головках делать в час после заката солнца и надо собирать сок за час до солнечного восхода. Опий несут за границу и приносят из-за границы: афганские и китайские пограничники за унций опиума пропускают через границу кого угодно. Опий имеет специфический запах. Чтобы его сокрыть, его замазывают в глину стен или прячут в горах. Опий не имеет охраны государственности, и вокруг него всегда преступления, убийства, темные дела. Я курила опиум раза два; на

меня он не действовал никак, но, должно быть, правильно, что это самый страшный наркотик, который, подчинив себе человека, разрушает его волю, завладевая человеком всецело, посылая его даже на смерть.

И вот рассказ о гадах. Гады, оказывается, так же, как и люди, подвержены бреду опиума. У каждой опиекурильни есть свои гады. Опиекурильня разрушена — опиекурильщики устраивают новую опиекурильню, — и из щелей, из-под лавок вдруг высовывают свои головы черепахи, ящерицы, змеи, пауки, чтобы нюхать опийный дым; гады нюхают воздух, гады вдыхают запахи опиума, гады блаженствуют. Опиекурильня разрушена вновь, — гады приходят на новое место. Опиекуренье, как вообще наркотики, есть ерунда и мерзость древности, варварства, варварского отношения человека к самому себе.

Я начала это письмо рассказом о басмачах. А заканчиваю рассказом об опи и опийных гадах. Это есть в жизни. Остров Урта-джунгал, где мы тонули, сейчас уничтожается: когда река Беш-капу будет уничтожена, остров джунглей будет отдан хлопку и рису.

Не устал ли ты, мой друг, от этого письма? — Мой сын Александр стал совершенно черный, как таджик.

Всего наилучшего!

*Письмо шестое*

Милый друг!

Инженеры прокладывают сейчас автомобильную дорогу к Гарму, — дорога отгремела динамитом до Оби-Гарма, куда добираются теперь автомобили. Но дальше за Оби-Гармом к Каратегину, к Дарвазу, к горному Бадахшану, к Памиру идут ишачьи тропы и овринги. Туда ездят верхом на конях, на ишаках, да залетают туда самолеты. Дороги туда идут по долинам, против течения рек, и дороги с каждым метром все выше и выше уходят в горы, к вечному снегу, к ледникам, к колыбели рождения рек и к климату Арктики. Высоты показывают все пояса климата и растительности — от риса субтропиков до эдельвейсов и красных рысок, живущих на вечном снеге.



Когда в Гарм прилетел первый самолет, при виде его от разрыва сердца умерли три человека. Мы летели в Гарм вместе с зампредсовнаркома Таджикской ССР. В горах, должно быть потому, что они многие месяцы в году отрезаны от мира метелями и снежными обвалами, бывает иной раз необыкновенное солнце, необыкновенный свет, когда глаз видит на сотни километров. Самолет оставил внизу зеленые долины, равняясь с вершинами гор, с холодным величием льдов. Над нами было солнце, налево от нас были ледники Зеравшанского хребта, направо — хребта Петра Первого и впереди — Памира, хребет Академии, снеговые гряды перед самолетом, теряющиеся из глаз. Самолет брал высоты километров, холод Арктики — илюльской Арктики! — врывался в самолет, — дышать надо было глубокими вздохами, чтобы приладиться к разреженному высотами воздуху, — и солнце, солнце, свет неопикуемой яркости, пустой воздух — резали глаза. Самолет в час с четвертью прошел то пространство, которое люди на лошадях делают в пять дней. Гармский аэродром находится в восьми километрах от города. Самолет долго проделывал воздушные воронки, чтобы спуститься между гор к земле. На аэродроме нас встретили всадники. Мы пересели на коней. Простор солнца, торжественность гор не покидали нас.

Гарм лежит на родоначальнике Вахша, на реке Сурх-об, которая, сливаясь с Хингоу (рекою золота), образует Вахш. И города Гарма, говоря по существу, нет. Где-то в стороне лежит полумертвый кишлак, отгороженный от мира своими глино-каменными дувалами и водопадами, — а город, европейский город (приехав сюда, ты бы вспомнил Шпицберген, шпицбергенские поселки каменноугольных копей), европейский город Гарм — субстанция города — состоит всего навсего из двадцати — двадцати пяти европейских домов, построенных в этом и в прошлом году. Все дома одинаковы — белые, одноэтажные, почти стандартные, указывающие, что для строительства их привезены материалы со строжайшим расчетом их перевозоспособности. Это и понятно: сюда, в

горы, под самый вечный снег, в километры над уровнем океана, чтобы построиться, надо было привезти все, от стекла в раму до леса для рамы, — и все это было привезено на ишаках. В городе построены — исполком в центре плана, против исполкома окружком КП (б) Т, рядом педтехникум, водхоз, метеорологическая станция (изучающая климат Памира и законы рождения рек), телеграф, караван-сарай (торговые ряды Таджикторга, Таджикмутлобота — кооперации), больницы, приемные покои, общежития, клуб, склады Азия-хлеба, Туркшелка, акц. общ. „Шерсть“, скотный двор молочной фермы. Этот стандартный город рассказал мне о том, как и что строит сегодня советская власть: этих домов не было здесь два года тому назад, а стало быть не было ни больниц, ни школ, ни почты.

В старом Гарме остались развалины бекского замка (Гарм столица целого громадного округа — горных систем Каратегина), парк, хаус под платаном, гарем, крепостные стены, темницы (при чем на таджикском языке о тюрьмах говорят — „лечь в тюрьму“, а не *сесть*, как, предположим, говорят по-русски: в кутузки при беках не сажали, но — клали).

Три-пять лет тому назад в Каратегине почти не было никаких товарных отношений; люди потребляли то, что производили. Какие в Каратегине пшеницы! — какое в Каратегине молоко! — ныне Каратегин втягивается во всесоюзные товарные отношения. Три-пять лет тому назад в иных местах здесь деньги заменялись кожами, служившими разменной монетой — как в Московии при удельных князьях. Сейчас там в караван-сараях есть все — от всяких ситцев до одеколонов ТЭЖЭ: хлеб получил вдруг цену. В городе Гарме образована молочная ферма, выписывающая породистых коровьих производителей; в городе Гарме больница; в городе Гарме, не первоначальная школа (которая, конечно, имеется, как и во множестве кишлаков), но — педтехникум. А вокруг Гарма в горах лежат кишлаки, средневековые, первобытность и — жесточайший труд, когда земли под посевы надо иной раз — земли, на которых может произрастать живущее—

надо тащить на безжизненность камней из-за десятков километров, и поля надо огораживать каменными дувалами, чтобы не развеяло ураганом плодородную почву, — на киш-лачных полях здесь иной раз начинают готовить клин земли для посевов отцы и заканчивают дети.

Хозяин города Гарма — строительство, строительная контора Таджикгосстроя. Эта строительная контора есть табор под горами, где работают и существуют несколько сот строительных рабочих ярославских, полтавских, вологодских, — и несколько сот лошадей и ишаков, ибо эта строительная контора строит, обстраивает весь Каратегин и Дарваз, рассылая через ледники перевалов дома и части домов. В квартире уполномоченного Таджикгосстроя, у инженера Кирсанова, свалены в углу перечитанные все новейшие московские и ленинградские журналы, доходящие в Гарм с двухмесячным опозданием.

Мы поселились в доме, только-только что отстроеном. Наш день прошел в заседании исполкома, где слушались и обсуждались доклады — о шелке, о шерсти, о хлебе, о воде, о ситце, — о насущнейшем, о простейшем, что перестраивает Каратегин. В наробразе я встретила с двумя ленинградскими студентами этнографами, приехавшими изучать таджикский язык и таджикский фольклор. В час между собакой и волком — в закат — с гор пришла гроза, единственная за лето, ибо вообще в Средней Азии долин последний дождь бывает в феврале и первый в ноябре. Арктика Памира бросила на Гарм лиловые тучи, тучи понесли ветер, застонали горными эхо, когда кажется, что падают горы, загремели и заполыхали молниями. За дождем, за громами — я оказалась никак не в Каратегине: с двумя метеорологичками — подвижницами науки, которые с ужасом рассказывали о переходе сюда от Сталинабада на ишаках, — с двумя лингвистами, с двумя врачами (этих врачей задержала гроза, они проходили мимо Гарма из Дарваза в Матчу, врачи-антропологи, экспедиция, изучающая сравнительную анатомию горного населения — антропологию таджиков), с кино-

артистами, приехавшими из Москвы снимать Гарм, с инженером Кирсановым мы сидели на берегу Сурх-оба, слушали его рев и говорили обо всем, кроме Таджикистана, — о судьбах СССР, о революции, о советской кинематографии, о метеорологии, о медицине, о литературе.

Наутро мы вместе с ним и с наркомом должны были уйти в поход в страну Дарваз. Нашими разговорами мы вернулись к будням. Владимир Федорович сказал мне, что он выписал для жены сюда, в Гарм, пианино: это будет первое пианино на Памире.

Наш дом был только что отстроен и пахнул краской.

Наутро, в бодрости солнца, мы пошли в поход — в Дарваз. Впереди нам предстояли два горных хребта — Петра и Дарвазский — и три перевала — Комчерак, Зах-Бурси и Хабурабат. Мы шли в страну еще более оторванную от мира, в которой почти не едят хлеба, заменяя его тут-пистом, пастилой тугово-ягодной муки, ибо в Дарвазе очень много растет тута. Слово Дарваз значит — страна канатоходцев, страна акробатов: так страна названа в честь ее дорог.

Нас было семь человек в походе, трое таджиков и четверо русских. Кирсанов был нашим комендантом. Наши кони были отличны.

Наш поход был сравнительно с остальными походами — удачным: у нас свалился с горной тропинки в пропасть всего один человек — милиционер товарищ Максум. И чудом спасся, — он вместе с лошадью, сорвавшись с тропинки, летел десяток метров по воздуху, по счастью упал на щебень, летел вместе со щебнем метров пятьсот и, еще раз по счастью, наткнулся вместе с лошадью на фисташковое дерево, которое задержало его лошадь, а вместе с лошадью и его, — в метре за фисташкой была пропасть, в километр отвесом: если бы Максум упал туда, мы не имели б возможности даже подобрать его костей, ибо на спуск в эту пропасть надо было б потратить дня три — срок, в который горные волки съели б остатки Максума. Максум был покоен, когда мы вытащили на тропинку его и его коня, но конь был в истери-

ке. Я видела это впервые: конь дрожал в нервном ознобе, конь покрылся пеной, он боялся ступить, — ехать на коне возможности уже не было. Да сломал в нашем походе себе голову начальник похода товарищ С. И сломал почти на ровном месте, за час до отлета обратно из Гарма в Сталинабад: он пошел к реке пить; камень сорвался у него под ступней; он летел метров двадцать пять, остался жив, но получил кровоизлияние в одну из черепных полостей.

По существу говоря, езда по перевалам заключалась в том, что мы ехали поочередно то на хвостах у коней, то на ушах. На средних подъемах (градусов 30) мы лежали на конях держась за уздечку; когда эти подъемы превращались в спуски, мы лежали на конях, опираясь о крупы. На крутых подъемах (градусов 45) мы шли за лошадьми, держась за конские хвосты, при спусках же повисали на поводьях. Вообще же мы предпочитали с лошадой не слезать, так как у лошадей головы не кружатся, как это бывает у людей.

Мы выехали зноем солнца, и мы запаслись на дорогу войлочными гармскими белыми чапанами, чтобы не мерзнуть на перевалах. Сбоку у каждого из нас болтался маузер. Мы выехали — в пустыню, говоря по существу, ибо на нашем пути предстояло всего пять-восемь кишлаков. Горные кони на мало-мальски ровном пути берут в карьер и склонны на рыси переходить овринги, — и эти кони гораздо более приспособлены к горным переходам, чем европейцы-люди. Мы ночевали в кишлаках среди скал у странных стариков, которые помнят все, что было семьдесят-восемьдесят лет назад, когда в горах никто не знал, что в мире есть европейцы.

Перевал Комерак начинается в шести километрах от Гарма. Кони промчали эти шесть километров карьером. И кони полезли на Петра Великого, в горы, в горы, в горы. Пояса пшеницы и арчи (можжевельника размером в сосну), редкие березки сменились так называемыми альпийскими полями, где пасутся отары. Альпийские поля сменялись косами снега, смятого в лед и поросшего красными рясками. Ослепительное солнце было над нами. Глаза слезились от снега. На плечи

надо было надеть чапаны. Кони цокали подковами — в августе, в субтропиках — по льду. Здесь росли мхи, в этой пустыне гор, снега и солнца. Надо было по особому дышать, раздувая легкие вздохами, ибо воздух был разрежен. Направо, налево, сзади, на километры еще выше нас вечным седым величием величествовали вершины. Ты видел, мой друг, такой пейзаж в Арктике.

Сзади оставались многие часы похода и многие километры. И вдруг горы оборвались в пропасть, отвесом. Внизу, в сини недалеких километров, лежала долина роц, садов, зелени; мы были на снегу, около ледника, в котором рождался ручей, — внизу, в жизни, текла серебряная река. Внизу была жизнь, долина невероятной красоты.

— Начинается, — сказал Владимир Федорович Кирсанов, — и слез с коня.

В десяти шагах начинался спуск. Спуск этот верст в семь пути и в два километра отвеса. Спуск идет по хребту скалы. Громадным ящером эта скала поставила задние лапы в долину и передними уперлась в ледники. Мы стали сползать по лишаям хребта этого ящера. Под ногами был гравий. Направо и налево под нами были пропасти, синеющие своими пространствами. Ноги сразу налились свинцом усталости; я повисла на поводках. Лошадь своими копытами при каждом шаге выбирала почву под собой гораздо осторожнее, чем хирург-окулист касается глаза. Каждый мускул лошади был рассчитан. Тропинка проходила в четверти аршина от пропасти; начинала кружиться голова. В самом верху скалы был мост через пропасть и затем пошли овринги. Надо рассказать, что такое овринги на Памире и что такое мосты.

Мосты строятся простейше: два бревна через пропасть, на бревна положен валежник, валежник посыпан щебнем, чтобы не пугалась лошадь, — делается это без единого гвоздя, — такие мосты кладутся и через реки, — когда по ним идет человек с лошадью, мосты качаются, — когда человек переезжает их верхом, за своими коленями, и за гривой лошади он не видит моста и видит лишь то, что за километр под ним,

— за наш поход лошади много раз вязили ноги в валежнике этих мостов. А овринги строятся там, где тропинки упираются в отвесы: вопреки законам физики, на манер ласточкиных гнезд там приклеивают дорогу: в одну расщелину вставляют кол, в другую, перекидывают бревна с камня на камень, выпирающие из скалы; сплетают их лозою, опять засыпают валежником и щебнем и едут таким образом, что одно колено чертит за стену отвеса, а за другим разверзается пропасть. С оврингов, по правилам, костей не собирают. На оврингах европейцу лучше закрыть глаза и отдать свою судьбу в лошадиное распоряжение. Надо помнить, что и тропки в горах, без всяких оврингов, такой ширины, что две лошади разъехаться не могут, и таких качеств, что товарищ Максум—таджик, горец — свалился не с овринга, а с тропы; на таких тропках и оврингах с коней слезают через голову или через хвост.

В самом верху Комчирака был мост через пропасть, — внизу был синий километр пропасти; мост закачался под ногами: закачалась вселенная! Овринги дальше не были уже страшными. С перевала мы сползли со скоростью километра в час. Мы спустились в леса грецких орехов, фисташки, арчи, алычи. Тот ручеек, рождение которого мы видели вверху, превратился в шумный поток. Вокруг нас стали скалы, загородившие горизонты. Солнце обрело свой зной. Мы приехали к реке Оби-Хингоу, от древности знаменитой своим золотом. Эта река рычала куда злобнее Терека и долина была куда величественнее Дарьяльской! Вся дорога над Хингоу шла по оврингам — в этой долине валунов, шума воды и первобытной растительности.

Перевал Зах-Бурси есть граница между Каратегином и Дарвазом. Перевал мы проходили в полдни. Перевал полог, лыс; его одиннадцать тысяч футов не кажутся высокими. Его пологие овраги под солнцем создавали ощущение русского сентябрьского дня. Было холодно и было просторно от солнца. Лошади шли не гуськом как всегда, но шеренгою. Дышать было трудно. К вершине перевала мы подошли не-

ожиданно: один, два конских шага — и дыханье заполохнулось невероятным величием: за громадной долиной стали — один, два, множество снеговых хребтов, вечное величие: Дарваз, памирские вершины. И сразу на вершине переменялась погода: ветер забрался под кости, перебрал все тело; гармской войлочный халат никак не грел; сентябрь стал декабром. Ветер рвал лошадиные гривы и срывал с лошадей наездников, мешал дыханию, мешал смотреть. Величие одиночества, величие недоступности, величие космоса — они лежали перед нами и вставали космическим блеском ледников. Холодом у меня сводило челюсти. Горы, лежащие впереди, казались недоступными человеку. Мы, неразличимые, должно быть, с высот этих гор даже в бинокль, мы — семь всадников на шершавых горных лошаденках — поехали к этим горам, чтобы перевалить через Дарвазский хребет, который был первым за долиной, который казался лежащим совсем рядом, но путь до которого был больше суток похода.

И Дарвазский хребет — перевал Хабу-Рабат — оборвался пропастью, где над нами стали километры обрывов. Впереди едущий всадник вместе с конем казался пигмеем под этими километрами разъятых недр, откуда выпирали пласты медных руд, азбеста, фосфоритов, где наверху из-под ледников свисали каменный уголь и гранит. Геология в этом ущельи смешала свои эпохи так же, как климат. Там, в ущельи, куда не достигало солнце, там было темно и там лежал снег, снеговые трапеции, снеговые мосты, снеговые пещеры, по которым цокали копытами кони, превращенные в пигмеев. Там, где было солнце, там разрастались рощи тутового дерева, грецкого ореха, розовые заросли, гранаты, виноград. Скалы, километрами отвесов поднимаясь в небо, утверждали космическую готику. Со скал падали водопады ледниковой воды и воды, идущей из горных недр, соленой и горькой. Это ущелье не было создано для человека. Целый день мы ехали на крупах лошадей от пропасти к пропасти, над водопадами, под водопадами, лепясь оврингами по отвесам, коченея бродами горных речуг. Ехать часами на спуске ужасно: от этого



напряженнейшего слежения уже не за скалами, а за метром дороги перед тобою, от необходимости все время откидываться к крупу лошади, когда на самом медленном шаге все же надо держать коня шенкелями, — от этого немеют ребра у позвонка, ломит позвонок, а икры и ступни наливаются свинцом.

В этом ущельи есть овринг, который советскими работниками называется — „тем оврингом, где плачет М.“ М. — советский работник; каждый раз, когда он подъезжает в этом ущельи к оврагу, названному его именем, нервы его не выдерживают, он начинает проклинать свою судьбу, себя и советскую власть, пославшую его в Припамирье, все на свете, — он начинает плакать, этот не молодой уже человек: и овринг назван — „тот, где плачет М.“ Мне известна судьба кала-и-хумбского врача. Именно в этом ущельи он так потерял нервы, что слез с лошади, отказался дальше идти, — дальше до Кала-и-хумба врача донесли на руках, — и врач написал жене письмо, что никогда больше он не вернется из Кала-и-Хумба, ибо не может себя еще раз подвергнуть ужасу дорог. Врач описывал дороги и предлагал жене решить, подвергнет ли она себя ужасу этих дорог или пришлет грамоту о разводе (ныне врач этот умер, — жена к нему не приехала). Когда этого врача вызывали в горные кишлаки, он требовал, чтобы его носили на специально им сделанных носилках, из которых он не видел дороги. Врач был болен, конечно, но врач был болен дорогами.

Это ущелье вынесло нас к столице Дарваза — к городу Кала-и-Хумбу. До последнего столетия, до девятнадцатого века, в Дарвазе правили потомки Александра Македонского. В прежнем дворце владетелей размещена сейчас комендатура погранохраны. В саду крепости имеется разбитый временем гранитный трон, сработанный, как говорят археологи, сподвижниками Александра. Точный перевод слов Кала-и-Хумб есть „крепость котла“. Кала-и-Хумб лежит на дне долины, похожей на пиалу, — лежит на дне пиалы. Под замком, где ныне живут пограничники, сливаются реки Оби-Хумб и

Пяндж, седой Пяндж! — и за Пянджем — Афганистан, в двухстах метрах от крепости пограничников. Дарваз — страна канатоходцев. В Дарвазе не хватает своего хлеба, и хлеб заменяют тут-пистом — пастилой из тутовой муки; но пастилу можно заменить мукою с тем, чтобы тут освободить для шелка.

На перевалах, в пустыне камня и снегов, на оврингах, перед лицом седого величия горных хребтов, о которых на картах пишется „неисследованные области“, мы встречали странные караваны ишаков, погоняемых таджиками; ишаки везли телеграфные столбы (как не срывались они с этими столбами в пропасти?!), мотки телеграфной проволоки, телеграфные бабки (телеграф дошел до Тавиль-Дара — до Тоби-Дара по иному написанию — и идет к Кала-и-Хумбу, пока связанному с миром только радио); ишаки везли оконные рамы, вьюшки и дверцы для печей, стекло, кровельное железо, медикаменты, книги, газеты, ситцы, галантерею — все, что потребно культурному человеку и чем идет в горы советская власть. Тропинки горных перевалов одиноки: зимами, когда перевалы закрываются, эти места отрываются от мира; снег в этих субтропиках смешан с платанами. Мы спустились с красных сланцев Петра в долину золотого Хингоу — спустились с жесточайшего одиночества и: в Тавиль-Дара строят — европейские — школу, больницу, исполком, почтовую контору, агроветеринарный пункт, аэродром, склады; берег Хингоу засыпан стружками, завален бревнами, поет таджикскими песнями и русской дубинушкой — в этом месте первобытности, где встретить человека редкость и куда телеграф и телефон уже проведены.

Мы вместе с конями сжимались в комки нервов ущелья за Хабу-Рабатом, заботясь о том, чтобы у нас не кружились головы на качающихся над пропастями опрингах, и: мы приехали в Кала-и-Хумб, где — опять-таки — строятся, построены — школа, детский приют (для маленьких таджитчат-сирот), больница, караван-сарай, общежития, — европейская жизнь, — в комендатуре в Кала-и-Хумбе есть радио, посылающее вести миру с гор.

И в Тавиль-Дара и в Кала-и-Хумбе у нас шли заседания, где обсуждались: переустройство гор, переустройство жизни таджиков, новые дороги, новые школы, шелкозаготовки, шерстезаготовки, коконосушилки, питомники для шелководных червячков. Под Кала-и-Хумбом в кишлаке Кеврои образован колхоз — здесь, на границе с Индией. На одной из горных троп нам встретились изыскатели, исследователи, геологи: они ищут в горах свинец, медь, серебро, азбест, золото. По горам и горным кишлакам ездят врачи, агрономы, дорожные техники, водхозники. Жить в Дарвазе европейцу, конечно, то же, что жить, примерно, на Новой Земле: это сравнение значимо тем, что на Новой Земле нет такого количества делателей и изыскателей, — и еще значимо утверждением того, что у Таджикистана есть воля слать людей на эту таджикскую Новую Землю.

В нашем походе, когда мы шли от солнца до солнца, мы ночевали в кишлаках, лежащих по пути. Мы мылись из горных ключей; нам расстилали кошмы под чинарами, нам приносили джургат (кислое молоко, сдобренное горными травами), шир (свежее молоко), чай-кабуд, палау (плов на горном наречии); мы ложились, чтобы есть, и мы опускались в библию средневековья, в приветствия стариков, в быт, где не было почти ни единой вещи от индустрии; но разговоры наши были о новых делах, когда молодые таджики работали на новых строительствах и тащили по горам материалы строительства, — и к нашим кострам с гор приходили эти молодые, чтобы узнать новости, чтобы сообщить новости. Эти горные кишлаки — и одиноки очень и очень бедны, заброшенные между скал.

Никогда, никогда не забуду кишлака Сагыр-Дашт! — Мы ночевали в нем дважды. Он заброшен между перевалами Зах-Бурси и Хабу-Рабатом. Если говорить точно, он лежит на перевале, ибо вершина перевала Хабу-Рабат километрах в пяти от кишлака. Он лежит на уровне снегов, этот кишлак, обездоленный природой. Ни кустика, ни деревца нет в этом кишлаке, — и лишь под ним, на склонах гор повисли (а не

полегли) поля сжатых ячменей и пшениц. Даже в июле холодно в этом кишлаке. В этом кишлаке мы почти не видали людей; мужчины ушли на работы во все концы Таджикистана и Средней Азии, вплоть до Ташкента и Ферганы. Мы останавливались в самом крайнем и верхнем доме. Кишлак ступенями крыш опускался под нашими ногами. На крышах домов, которые одновременно являлись дворами домов вышележащих, появлялись изредка женщины, с двумя косами до колен, в шальварах; они веяли пшеницу (чтобы затем вручную ее смолоть, ибо единицею измерения пшеницы служит в Дарвазе тубетейки!). Ветер обдувал их; они пели гортанные песни, дополняющие снежную пасмурность гор, и они отворачивались от меня, когда замечали, что я наблюдаю за ними. Трубили в кишлаке ишаки, оповещая время. На нашем дворе между домом и ослятником протекал ледяной гремячий ручей. Наши кони заполняли двор. Дом, в котором мы останавливались, состоял из террасы, на которой нельзя было оставаться от холода сейчас же за заходом солнца, и из глиняной ханы. В этой хане не было ни единой вещи, кроме фонаря и светца (очень похожего на российские, девятнадцатого века и ранних времен, светцы). Пол, стены и потолок были глиняными. Посреди пола было углубление для костра. Окон не было в этой комнате, — и окном, и дымовым выходом служила отдушина в стене. Вокруг огня расстилались кошмы и одеяла; нам давали ватные халаты поверх наших войлочных; мы ложились к огню. На дворе резали барашка для палау, спуская кровь в ручей. Зимний мороз сковывал перевалы и кишлак; кричали перед сном ослы; в темноте слышалась женская песня. И чувства такого одиночества, такой бедноты, такой оторванности охватывали, что за ними забывались пятидесятикилометровые переходы по оврингам и разбухшие от усталости ноги.

И никогда, никогда не забуду я разговора с оружейным мастером в Кала-и-Хумбе! Долина Ванча в Дарвазе из веков известна своим железом и своими железными мастерами. Это мастерство вымирает. В Кала-и-Хумбе живут два мастера-

железника, оба они старики — и оба они почетные граждане этой дарвазской столицы. Мы пришли к старшему. Дверь его мастерской была приперта камешком. Мальчик побежал разыскать деда. К нам пришел старик; он поклонился величественно, приложив руки к груди. Он был стар и был бодр, и его лицо было лицом европейца, голубоглазое. Халат его был опрятен. Он пригласил нас в мастерскую. Вся мастерская его разместилась на четырех квадратных метрах. Вделанный в колоб, шумел в углу ключ. Над горном свисали ручные мехи. Старик сел на свое место мастера, подогнув под себя ноги. Он сказал с гордостью, что он родом из Ванча. Он показал два кинжала, которые он сейчас делал, — в углу горной валялись конские и ишачьи подковы. Он рассказал о великих мастерах Ванча, он сказал, что руду — до сих пор — он привозит на осликах с Ванча. Он, старик, сам пережигал руду на своем горне и делал из нее замечательные стали. Качество руд бывает различно. И у старика была мера: хорошая руда — это та, когда от одной закладки печи получается железа на омач; плохая руда — когда эта же печь дает железа на ослинную подкову. Рукояти кинжалов, сделанные из козьих рогов, старик инкрустировал серебром, равно как серебром же старик писал свое имя на лезвиях кинжалов. Старик был — мастером. Старик рассказал, как его собратья в старину собирали, мыли золото и работали с ним. В мастерской было темно и пахло железными опилками. Старик предложил нам чаю и просил пожаловать к нему в дом на палау, — мы отблагодарили. Я рассматривала кусочек железа, вчера выжженный из руды, с неменьшим вниманием, чем искусство кинжала. Когда мы прощались, старик сказал:

— Правду ли рассказывают проходящие люди, что в долинах у европейцев есть печи, в которых из руды сразу выжигается десять, сто и больше пудов железа?

Мы рассказали старику о домнах. Старик сощурил глаза, опустив их в свои мысли.

— Тогда понятно, почему мои дети бросили мое ремесло, — сказал старик. — Наше искусство должно умереть. Мои дети

поступили правильно!.. Большевики привозят железо, чтобы покрывать ими дома!..

В Гарме нас ждал самолет — этот, сделанный из железа.

Я видела на перевалах, как рождаются реки. Снег лежит спрессованным в лед. Нижние слои снега грязны. Снег лежит треугольником в ложине, и та часть треугольника, которая не касается земли, подмыта изнутри, образует снеговую пещеру. В пещере холодно, сыро, темно. И из пещеры течет небольшой, иной раз чуть заметный, ключ. Это и есть рождение реки.

В городе Кала-и-Хумбе мне сказали, что в город пришла женщина с Памира, из долины Ванча, девушка семнадцати лет, которая пробирается с Памира в долины, чтобы учиться.

Кала-и-Хумб — столица Дарваза, легшая на границе с Афганистаном на дне пиалы, образованной горами, — по существу говоря, не есть город, а школа, больница, исполком, Туркшелк, „Шерсть“, караван-сарай, красная чайхана (она же и гостиница). Вокруг города кишлаки; в городе, кроме таджиков и пограничников, человек пятьдесят-семьдесят европейцев, врачей, техников, исполкомщиков. В Дарвазе есть кишлаки, где люди сплошь больны базедовой болезнью.

В Дарвазе таджикское население придерживается в религии исмаилитского вероисповедания, здравствующего и доныне. В дебрях философии и истории исмаилизма разбираться не стоит, — он возник в одиннадцатом веке в Египте; его представители — фатимидские халифы, потомки которых скитались по Ближнему Востоку, жили в Персии, а последние сто лет живут в Индии, в Бомбее. Дело в том, что каждый живущий имам из этого рода фатимидов считается живущим богом, нося звание Ага-и-Хана. Нынешний Ага-и-Хан, сорок восьмой по счету, окончил английский университет, имеет от англичан чин „его высочества“, миллионер, рантье, любитель дэрби; но он — живой бог. В Бомбее у него громадная канцелярия; он собирает с верующих подати. Его данщики живут в Египте, Сирии, Персии, Индии, в Китайском

Туркестане и на Памире. Ага-и-Хан, по дороге в Англию, заезжает иногда к средиземноморским своим поклонникам, показываясь в виде бога. На Памире его конечно не было, но памирцы шлют ему подати, этому живому богу, окончившему университет. Дань с дарвазцев господь-бог берет золотом только, и платить дань должен старший в роде за всю семью сразу, по существующему на то регламенту. В экспедиции председателя ЦИК ТаджССР товарища Нусрат Улла Максума Люфт-Уллаева был советский работник с золотой челюстью. Этого работника в чайхане нашла женщина-таджичка, должно быть старшая в роде; она стала просить, чтобы он продал свою челюсть, так как приехал сборщик податей для Ага-и-Хана, а золота у нее нет. Владелец челюсти погнался старуху к шутливой матери. Старуха разыскала его вновь на другой день и привела за собой за руку цену за золото — свою собственную дочь, которую она предлагала сменять на золото. Мне существенен этот эпизод потому, что доказывает, что рабство, продажа и купля людей еще имеются на Памире, и еще говорит о положении женщины в исламе, вот той девушки, которую натурой привела мать за золото.

Паранджа ислама еще командует в Таджикистане: женщина не человек, женщина предмет купли и наслаждения, лицо женщины спрятано за конские волосы намордника, женщина спрятана за дувала в гаремных половинах. Ледники традиций еще очень крепки в морозе веков. В дни моего пребывания один мой товарищ был свидетелем следующего. Он заночевал в пути, в горном кишлаке. Ночью, когда оттрубили час сна ишаки и отлаяли собаки, он услышал женский голос. Сначала ему показалось, что женщина поет какую-то очень грустную песню; затем он подумал, что женщина причитает над умершим; затем были одни сплошные вопли: кишлак не мог не слышать этих воплей, но кишлак спал библейским безмолвием. Наутро в джам (сельский совет) пришел таджик и сообщил, что ночью он убил жену потому, что жена сняла чашим-бандом, волосяной намордник. Таких эпизодов я знаю десятки. В таджикском театре, в труппе,

убиты две женщины: одну убили родственники (убили, изрезали на куски, запрятали в глиняные сосуды, зарыли в подполье, — дело узналось только через год), другую убил муж в припадке ревности за кулисами, когда по роли на сцене она целовалась с другим мужчиной.

Советская власть строжайше стала на сторону прав женщины — вплоть до расстрелов нарушителей этих прав. В долинном Таджикистане воды ледников уже прошли. Мне известен эпизод, который похож на анекдот: у таджика сбежала жена; он поехал ее разыскивать; он нашел ее в городе; она не вернулась к нему. Возвращаясь обратно на своем ишаке, таджик заехал к знакомому по дороге заночевать, и он рассказывал приятелю в окончательном недоумении, что его жену в городе не только не прогнали, не только кормят, но ее взяли на завод, она ходит без паранджи и получает девяносто рублей жалованья. Друзья недоумевали, возмущались и улеглись спать; а когда они проснулись утром, выяснилось, что исчезла жена хозяина, у которого заночевал покинутый муж: жена сбежала в город вслед первой женщине, наслушавшись ночных разговоров мужчин. Это звучало бы анекдотом, если бы эти двое мужчин, повскакав на ишаков, не догнали убежавшей женщины и не зарезали ее по дороге к городу.

Паранджа ислама еще командует в Таджикистане. Ледники средневековья еще скованы морозом столетий варварства. В городе Кала-и-Хумбе, там, где живет мастер-железник, мне сказали, что в чайхану пришла девушка, убежавшая с Ванча и идущая учиться. Я пошла в чайхану. На кошме, опираясь о колено локтем, сидела среди мужчин одна-единственная женщина. Ее лицо не было покрыто чашимбандомом. На голове у нее была женская тибетейка. На плечах у нее лежали две чудеснейших косы. Она была одета в войлочный дорожный халат; из-под него видны были красные ситцевые шальвары. Ноги ее были обуты в муки, и на муки были надеты новенькие, блестящие — российского производства — галоши. В руках ее был тощий узелок. И я — я никогда не видела такого лица! Мне трудно передать сло-



вами мои ощущения. Она не была красивой, слишком орлиным был ее нос, и ее глаза — эти необыкновенные, чудесные глаза! — портили в ней женскую красоту. Глаза были необыкновенны. Она смотрела вперед неподвижно, в одну точку, почти не мигая. Это были глаза подвижницы, взявшей подвиг прекрасного. Я знала, что этой девушке было семнадцать лет, — ей можно было дать двадцать пять. И одновременно с этим глаза ее заставляли думать о мудрости старчества. Она сидела неподвижно. Я стояла против нее. Она подняла на меня орлиные свои глаза, глянула на меня, точно я была пустым местом. Я знала, что она — комсомолка, исмаилитка — бежала из дома. Уполномоченный Туркшерсти товарищ Садыков подобрал ее в горах, — исполком искал для нее лошадь до Гарма. Мне понятны были ее глаза, — она была подвижницей, и она шла в святость знания — вон от исмаилизма! — она, комсомолка! Если бы на эту девушку глянул человек, не знавший ее судьбы, ему бы показалось, что глаза ее полны злобы и ненависти, — это была сосредоточенность: за этими глазами стояли смерти сотен ее сестер, гаремы тысячелетий, и за этими глазами стояла революция. Я проследила судьбу этой девушки: она учится сейчас в Сталинабаде; там сотни таких девушек. Пусть кто-нибудь попробует вернуть их в средневековье: они, эти девушки с гор, знают, как заряжать мултуки, и знают, что такое средневековье!

Всего наилучшего!

Воровские слова:

— револьвер — шпайка, часы — бака, галоши — пароходы, карты — святцы, рубашка — бабочка, деньги — сармак, брюки — шкеры, ночлег — могила, паспорт — очки, разиня — антон, сапоги — кони, карманщик — ширмач, глядеть — стремить, крест — чертогон —

В ночь, когда Александр Лачинов вернулся от Ядвиги Фелициановны, летчик Обопынь целовал мумию. Александр Лачинов переехал на новую квартиру в княжеском особняке. Кабинет он устроил в упраздненной домово́й церкви, в алта-

ре. Туда он подобрал письменный стол из красного дерева, павловские кресла и диван в медвежьей шкуре. Стены и пол застлал коврами, которые крадут звуки. Часы отзванивали каждые четверть часа менуэтами восемнадцатого века. Портреты кутали окна алтаря, как женщины кутают пледами плечи. Обопынь пришел, когда никого не было дома. Горничная привела его в кабинет. Он лег на диван и попросил водки. Так прошло полчаса при семи или девяти рюмках водки. К запахам лета, ночи и нежилого помещения присоединился какой-то непонятный запах. Обопынь стал принюхиваться. Непонятный, бередливый, чуть заметный, — Обопынь не сразу узнал запах разложения, мертвечины.

— Наверно под полом издохла крыса, — решил Обопынь.

Но запах не переставал беспокоить, и в памяти стал фронт.

Во мраке комнаты, за тяжелыми коврами мягкая была тишина. Обопынь лег на медведя, положив под голову подушку и заложив за голову руки. И тогда он услышал, как за головою его, в углу, нечто гудит, едва слышно, как гудят морские раковины.

Обопынь поднял голову и — поспешно сел на медведя: — в углу, едва заметно, призрачным фосфорическим светом светились человеческое лицо, шея, плечи, — бередливое шипение морской раковины шло из этого же угла.

Обопынь поднялся с дивана, пошел навстресу фосфорическому свету, в углу стоял человек. Обопынь впервые был в этом кабинете. В старой квартире Обопынь не видел мумии, она тогда путешествовала по друзьям и знакомым.

— Ну, ну, зачем пугаешь, Саша, — сказал Обопынь, — теперь ведь не масленица. Радиевую соль взял у брата на Полюдовой?

Обопынь зажег электричество. В углу стояла мумия. Обопынь отшатнулся от нее, как зырянин Москва от выключателя. И решительно двинулся к ней.

— Ага, значит так, милостивая госпожа! — Это вы? Вы меня не узнаете! А у меня отличная зрительная память!

Обопынь подошел вплотную к мумии: мумия пахнула мертвецом.

— Ваши веки закрыты, олл райт!.. Ваш лоб, ваши ржаные волосы, ваша прическа, ваши губы... какая у вас непонятная улыбка... бесспорно, вы пронесли все это через тысячелетья бреда, это не может быть двойник!.. Значит вы меня не помните? А я вам напомним, хотя это и неприлично — ах, Александр Кириллович, ах, Александр Кириллович!.. Вы помните, как я с товарищами нес трупы, как мы пришли в больницу, где живыми были только вы и Александр Кириллович, простите за нескромность... Извините — Александр Кириллович говорил, что вы встретили его такую страстью, такими поцелуями и таким отдаьем, которые могут родиться только раз в тысячелетье.

В углу комнаты стояла неподвижная мумия. Человек кланялся мумии. Тогда пришел от Ядвиги Фелициановны Александр Лачинов. Обопынь бредил, но его жесты и слова были совершенно трезвы.

— Я сейчас с аэродрома, мне говорят, что я вылетелся, потерял сердце! — крикнул Обопынь. — А вы, Александр Кириллович, а ты, Саша, законсервировал свои чувства в тот момент, когда мы вместе несли трупы. Эх, брат Иван!.. Грудку, грудку поцелуй, ножки! — И со всем благоговением, которое может собрать в себе любящий человек, Обопынь целовал мумию.

Александр Лачинов торжественным голосом актера произнес: — Видишь, она просится к тебе на руки... возьми ее, приласкай!.. Она умерла три тысячи лет назад, видишь, она идет к тебе. Иди в объятия трехтысячелетней. Обними ее, обними по прекрасному праву, которого нет в жизни, которое дает только смерть. Возьми на руки, баюкай ее тысячелетья. Спой ей так, как пела тебе мать, как пела над тобой, когда лежал в колыбели. Видишь, она идет к тебе обнаженная. — Глаза Обопыня заплыли в тяжелые складки морщин, как бывает иной раз у бульдогов, — и, как бывает у бульдогов, белки глаз Обопыня были испещрены красною сетью венек.

— Я тоже вылетелся, — сказал Александр Лачинов.

– Нет, я не вылетался, – заорал Обопынь, – нет-с, ерундиссима! Благодаря трупам, ты сохранил для нас женщину!..

В шесть утра позвонил телефон. Обопыня уже не было. Звонила Ядвига Фелициановна.

– В это время Владислав Владиславович всегда уходил на работу. Я не могу оставаться одна. Возьми меня, возьми меня...

Обопынь вышел от Лачинова, когда еще было темно. Обопыню следовало бы пройти арбатскими переулками к трамвайной линии А, до Арбатских ворот, а там взять такси на аэродром. Но он спустился к Москва-реке, к москворецким плотинам, где Москва-река шумит прибоем. Там Обопынь стоял, прислушиваясь к шуму падающей воды, – с простора омутов заплотиненной воды несло сыростью и мраком. Кремль уходил во мрак, небо над городом было желто-зеленым. Никого кругом не было. Напротив, на конфетной фабрике ночной сторож трещал колотушкой, – с мостов долетали звоны трамваев.

И тогда к Обопыню подошли трое.

– Дай закурить, товарищ! – сказал один из троих.

И сейчас же двое других выхватили из карманов наганы, приставили их к лицу Обопыня.

Первый сказал:

– Руки вверх! молчать!

Обопынь – памятью фронтов – понял, что его сейчас убьют. Он поднял руки, чтобы рассчитать действительность. Но первый – ловкостью хорошего портного – расстегнул его куртку, обшаривая – массажистом – тело. Обопынь понял, что речи о смерти нет, и пассивно успокоился, удивляясь, как безразличны ему эти шарящие по телу руки. Бандит вынул из заднего кармана револьвер, – Обопынь вспомнил, что этот револьвер был у него десять лет, некогда он отобрал его у офицера, – и удивился, как спокойно он отдает его, старого друга. Бандит расстегнул пуговицы, шарил и ощупывал совершенно виртуозно. Два дула револьверов были все время перед лицом Обопыня, мешая ему видеть.

В кармане у Обопыня, еще от поезда, по рассеянности,

осталась никкелированная мыльница: бандит вынул ее и не мог раскрыть, — Обопынь вспомнил, как перед Москвой он ходил мыть руки, и не припоминал сейчас, как засунул мыльницу в карман.

Бандит сказал:

— Что это такое?

— Мыльница, — ответил Обопынь.

— Открой! — сказал бандит.

Обопынь открыл.

— Зачем мыло носишь с собою?

— Я приезжий.

— Где служишь?

— Я... моя профессия... — Обопыню стыдно было признаться, что он летчик и бывший военный.

Бандит не дослушал.

— Ага, — профессор! — так бы и говорил! — сказал бандит миролюбиво.

Обопынь подумал, что для бандитов, должно быть, так же авторитетно звание профессора, как для сельских учительниц.

— А я думал, что ты ресефесер! — пошутил бандит и заговорил на воровском наречии, обращаясь к помощникам.

Бандиты опустили наганы. Один из них осветил электрическим фонариком землю под Обопынем, поднял с земли перчатку и отдал ее Обопыню.

— Катись! — сказал бандит. — Постой! — где проживаешь?!

— У народного артиста Лачинова, — ответил Обопынь, стыдясь дать свой адрес на аэродроме.

— Ага. Документы пришлем завтра, с рассыльным. — Катись колбасой, счастливого пути, товарищ профессор!

Но прежде чем Обопынь двинулся, бандиты исчезли, точно провалились сквозь землю.

У Обопыня были взяты револьвер, бумажник, часы.

Обопыню казалось, что он был совершенно покоен. Он постоял у набережной, послушал шум воды, зевнул и пошел обратно. Он шел сначала медленно, потом ускорил шаги, — мимо разрушенного храма Христа он уже бежал. У Пре-

чистенских ворот он нанял извозчика и велел везти не к себе, а к Александру Лачинову, действительно убежденный, что он там живет. Обопыню казалось, что он совершенно спокоен. Он не заметил, что вбежал в кабинет Лачинова. Лачинов стоял у телефона.

К Ядвиге Фелициановне Александр Лачинов пришел в десять. Гостиничный номер, вчерашний ужин на столе, нетронутая кровать свидетельствовали, что Ядвига Фелициановна не ложилась в эту ночь. Она сидела на том же самом месте, на котором Александр Лачинов оставил ее вчера. Она не подняла на него глаз. И повторилось вчерашнее. Она вспоминала Владислава Владиславовича.

— Я или вы, не знаю кто, убил человека. Я послала телеграмму о смерти Владислава Владиславовича, как проклятье. Вы меня вызвали. Я говорила вам, что кроме вас у меня никого нет.

Ядвига Фелициановна была неподвижна как вчера. Была покорна. Ее неподвижность и покорность подавляли Александра Лачинова. Он притворялся, что все в порядке. У Ядвиги Фелициановны были пустые, ничего не выражающие глаза. Лачинов стал распоряжаться, вызвал горничную, заказал завтрак. Лачинов говорил Ядвиге Фелициановне, чтобы она ела — и она покорно начинала есть, не замечая, что ест. Он посоветовал ей выкупаться и переодеться, чтобы поехать в музей. Они поехали в Третьяковскую галерею, где Лачинов не был со студенческих времен. Его поразило катастрофическое болото красок русских художников второй половины девятнадцатого века. Они позавтракали в Метрополе и поехали на скачки. На скачках Лачинов встретил знакомых. Артист Владимир Савинов пригласил Лачинова на свою лекцию о кукольном театре. Лекция читалась в закулисном клубе одного из московских академических театров, в заседании общества „Честное Слово“. Слушателями были артисты и немногие гости. Актер Владимир Савинов имел ассиметричное лицо астеника: несмотря на русскую фамилию и явное российское происхождение, — разрезом глаз, кры-

льями бровей, лбом, цветом кожи — Савинов походил на индуса. Говорил Савинов лаконически, короткими фразами. Актеры знают тайну вещей — путь вещей в достижениях актерских целей: и Савинов повязал свою голову белой чалмой.

Актер Савинов рассказывал историю марионеток, их путь через века, о том, что сейчас, вышед из веков, они остались в Осака в Японии, в Калькутте в Индии, в Каире в Египте, — что индийская память насчитывает марионеткам три тысячи лет, — этому абстрагированию искусства, когда человек в искусстве отказался даже от тела, тело заменив куклой.

Мозг и слова актера Савинова носили фантазию слушателей по неизученностям пространств и времени, по тем историческим закоулкам, которые называются искусством, которые всегда чуть-чуть истеричны и затырканы в дальние и темные углы кварталов темной человеческой радости.

И после лекции Владимир Савинов демонстрировал свое искусство: искусство владеть марионетками.

Была растянута черная материя, до третьей пуговицы жилета закрывающая Владимира Савинова. Был потушен лишний свет.

И тогда из-за черной материи вышла марионетка, женщина в плаще египтянки. Она поклонилась глубоким поклоном, опустив руки к коленам. В руке ее было опахало. Голосом, собранным интонациями одних бульжин, Владимир Савинов, свисая над марионеткой, читал стихи Кузьмина. Марионетка — египтянка — женщина величиною меньше четверти метра — шла, шла, ступала своими сандалиями, как самая настоящая женщина, — шла заставляя забыть, что она — только кукла в ловкости рук Владимира Савинова, дергаемая невидимыми ниточками. Она опустила опахало, она стояла в задумчивости, руку прислонив к глазам, — и она взяла сосуд с водою, поставила его себе на плечо, она согнулась под тяжестью сосуда, — и она пошла обратно. На встречу вышел желанный, любовник.

Вслед за нею вышел индус в белых одеждах, — он сел на землю, подобрав под себя ноги, — он склонил голову, — и он

задумался, как думают века истории его отечества.

Это было удивительнейшее зрелище, удивительная темная условность искусства, — и темная сила искусства, колоссальная, — ибо эти куклы — совершенно категорически жили в ловкости рук Владимира Савинова.

Ядвига Фелициановна была равнодушна и безвольна. Но в клубе забеспокоилась и заявила, что хочет ехать домой. Не досидели до конца. Поднялись на гостиничный этаж. Едва лишь закрылись двери номера, Ядвига Фелициановна, не снимая перчаток, схватила Лачинова за плечи, прижала голову к его груди, начала кричать:

— Мы убили, убили, убили! — и истерично расплакалась.

Лачинов ее утешал. Посадил ее на диван. Обнял, как обнимают испугавшихся детей, чтобы они чувствовали, что защищены. Он начал гладить волосы Ядвиги Фелициановны, чтобы успокоить ее. Она успокоилась. Снова одеревенела. Глаза ее стали равнодушными и мертвыми. Лачинов отошел от нее, чтобы закурить, и тогда — повторилось с ним то, что случилось за Полярным кругом, в дороге от земли имени брата Николая до смерти Саговского. Сознание распалось. Ядвига Фелициановна исчезла в его сознании. Лачинов увидел на диване некое громаднейшее государство.

Он увидел миллионы нечеловекоподобных людинок, которые бежали, катились, текли по этому закупоренному кожей сложнейшему государству — от *perpetuum mobile* сердца к кухням кишек, к озонаторам легких, к лабораториям мозга. Ядвига Фелициановна, человек, сидевший на диване, думающий, страдающий, живое существо, — исчезла. Лачинов видел рот, красные губы, — и видел, как за жерновами зубов, за мясом языка, через глотку в желудок шел кусок коровьего мяса, съеденный за обедом на скачках, — с тем, чтобы из коровьего превратиться в человечье. В клоаке кишек собирались отбросы столиц. Глаза шли в генераторы мозговых извилин. — Но рот, губы и глаза исчезли за счет мостовых звеньев позвонка, парапетов тазовых костей. В сознание на мгновение вернулось воспоминание о кубанской



степной больнице и о бреде тех поцелуев. Половые органы в тазовых костях наяву и изнутри. Ежесекундно сердце гнало марши крови. Легкие набухали воздухом, чтобы человеченки крови мылись в нем. Ядвига Фелициановна двинула ногой в лаковой туфле: — какая сложная система эстафет полетела к позвонку, к спинному мозгу, к коре большого мозга и в подкорковые майораты — и обратно от них в исполкомы мышечных нервов, в провинции человеческого мяса, построенного мышцами, чтобы — перестраиваясь, сжимаясь и разбухая — человеческое мясо подняло само себя на воздух, — себя и кости, заросшие этим мясом, и лаковую туфлю, чулок, подвязку и юбку, — подняло в воздух и поставило на другое место, вновь и вновь послав об этом эстафеты, — такие эстафеты, о которых ничего не узнал предсовнарком этого государства — сознание, кора большого мозга. — За эпидермисом, мальпигиевыми слоями (как припомнились Лачинову эти слова, знакомые по гимназии) слизями и мраками кожи — поистине сложнейшее жило государство красных и белых кровяных людинок, лилового человеческого мяса, белых костей и нервов — страдание, боль, мука.

Ядвига Фелициановна встала и подошла к Лачинову. Он стоял посреди комнаты. Ядвига Фелициановна подняла руки и обняла Лачинова за шею. Положила голову ему на грудь. Прижалась к его груди. Закрыла глаза. Открыла их и — в пропасть или в подвал этих глаз — надо было упасть, ломая в полете ноги, дробя череп. Из-за фиолетовых зрениц глаза глядели любовью, ненавистью, приказом, мольбой, ужасом и — страстью, отчаянной страстью. Губы и легкие Ядвиги Фелициановны задыхались воздухом. Углы губ Ядвиги Фелициановны приобрели звериное выражение. Ядвига Фелициановна выражала жизнь, радость, ее отношение к жизни было активным. Она вскрикнула, застонав от наслаждения, как иногда стонут женщины в зените страсти, еще до того, как Лачинов положил ее на диван. Но это удвоило напряжение. Ядвига Фелициановна рвала на себе белье, чтобы скорее

обнажиться. Лачинов видел государство людинок крови, парапеты костей, готику мяса, космос тела — и ничего не видел.

Ядвига Фелициановна стонала, шепча:

— Возьми меня, возьми меня, возьми меня.

Через некоторое время Ядвига Фелициановна реалистически, с активным отношением к жизни, сказала:

— Отвернитесь, я приведу в порядок белье.

Это было в реальном мире, в жизни. Лачинов стал разглядывать лунную ночь на картинке, висевшей на стене. В комнате горел свет и было тихо. Лачинов услышал стук окна и крик ужаса. Он повернулся. Ядвига Фелициановна стояла на окне, повиснув с четвертого этажа. Левой рукой она держалась за внутреннюю раму, а правой терла разбитый лоб. Лачинов кинулся к ней с той ловкостью, с какой когда-то в Арктике ходил по ледникам. Ядвига Фелициановна хотела выброситься из окна — и выбросилась бы, если бы не ударились лбом об оконную раму. Это неожиданное осложнение вызвало задержку. Лачинов стащил ее с окна и изо всей силы оттолкнул к внутренним стенам. Он крикнул на нее с полным ощущением реальности. Он реально подумал, что люди, которые стреляются, вешаются, топятя, никогда не возобновляют покушения на свою жизнь сразу же после их спасения. В реальном мире Лачинов говорил:

— Ядвига Фелициановна, либо немедленно идите в больницу, ибо у вас нервное расстройство и вы, конечно, это чувствуете, либо — что ж это такое?! — бравирование?! Возьмите себя в руки! Какие должны быть между нами отношения? Скажите точно и все станет ясным.

Ядвига Фелициановна сидела на диване с мертвыми глазами, не двигаясь. В реальном мире Лачинов чувствовал себя жертвой и спасителем Ядвиги Фелициановны. Он ее ругал, она молчала. Он говорил, что она должна немедленно лечь и остаться одна, чтобы успокоиться и решить пойдет ли она завтра к врачу по психиатрическим делам — она молчала, не дрогнула. Он был возмущен. Одедся, поправил галстук и

сказал, что уходит и вернется завтра — она молчала, не двигалась и не задерживала его. Он поцеловал ей руку и вышел. Все это было реальностью. Шел переулками между Тверской и улицей Герцена. Через проходной дом в Гнездиновском переулке вышел на Тверской бульвар, чтобы пересечь его в направлении Богословского переулка. Была глухая ночь. Небо покрылось августовскими тучами. Было парно.

Во мраке черепной коробки повисли сталактиты времени, чердаками рухляди свалена была память: и во мраке черепной коробки было совершенно темно, совершенно, — черепная коробочка разрасталась в невероятия, — как на заводе брата Николая, в шахте. Лачинов бродил по черепной коробке, спотыкаясь о память и с фонарем в руке. И память падала в стыд огромного государства Ядвиги Фелициановны, государства костей, мяса, крови, нервов, страсти и муки. Стыдно! стыдно! стыдно! неблагородно! позорно! убийца! — а если она все-таки выбросится из окна? В шахтных глубинах стыда появилась фраза брата Николая, что радий в своем пути разложения приходит к свинцу. И вот, свинец, возникший из радия, имеет атомный вес 296,09, а обыкновенный свинец, плюмбум, неизвестно как возникший, имеет другой атомный вес — 207,2. Была глухая ночь. В черном мраке парило. Лачинов вышел на Тверской бульвар при кофейне, которую старые москвичи называли „Греком”, и пошел бульваром вниз. В мраке он увидел памятник, это был памятник Тимирязеву, поставленный в 1922 г. на том месте, где стоял дом, разрушенный в октябрьские дни борьбы за советскую власть. Лачинов громко сказал:

— Как же это я ошибся — шел к Никитским, а попал к Пушкину?

И он повернул обратно. Ночь была черна и безлюдна. Он прошел мимо „Грека”. Он увидел впереди памятник. Он остановился в удивлении. Он пошел к памятнику. Это был Пушкин.

Лачинов прочитал:

И долго буду тем народу я любезен,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Лачинов осмотрелся кругом и пошел обратно. Бульвар был темен и глух, — впереди стоял Пушкин. Пушкин раздвоился. Пушкин замыкал пути Лачинова. Памятник Тимирязеву выпал из его памяти. Вжав голову в плечи, на цыпочках, Лачинов подкрался к памятнику. Стихов не было. Лачинов отшатнулся от Пушкина с другим, старческим лицом. Лачинов снова пошел по бульвару. Пушкин вернулся на свое место. Лачинов снова на цыпочках вышел с бульвара в пролаз Богуславского переулка. Лачинову казалось, что Пушкин спрятался за церковью. Лачинов видел Пушкина за каждым углом. Лачинов шел на цыпочках. Дома Лачинова ждал Обопынь.

— Уже светает, такси заказано, идем! — говорил Обопынь. — Я тебе рассказывал, как меня вчера ограбили?! Нет?! Нет, я не вылетался, ерундиссима!.. Я разговаривал здесь с твоей мумией, я еще проживу с ней, это та, помнишь, кубанская... Идем! Уже светает!

У ворот заклаксонил автомобиль, вызывая пассажиров. Обопынь и Лачинов сели в автомобиль. Обопынь велел ехать на аэродром Всехсвятское. Через полчаса под Лачиновым были облака. Лермонтов верно сказал: караваны облаков. И Лачинов вновь был в Арктике.

Те облака, что над самолетом, это — небо и глетчеры вдали, они розовеют от вечного дня и солнца, они медленны. Те облака, что под самолетом, это льды, которые идут по сини моря. Леса вдали внизу, меж облаков — слились в синь моря, там во мгле. Конечно, Арктика, — вон та большая льдина плывет на самолет, — вон там на горизонте стал глетчер, — вон заторосились айсберги. Какое странное солнце в Арктике! Какой свет!..

Бульдोजьи морщины расправились у глаз Обопыня, глаза вылезли из орбит. Самолет шел штопором. Лачинов инстинктивно хотел встать и не двинулся, привязанный ремнем. Самолет стал в пике. Земля вертелась внизу волчком. Глаза Обопыня лезли из орбит. Кровавой ракетой вспыхнул бензин. Пилоты болеют тяжелой болезнью: они вылетываются. Обопынь демонстрировал эту болезнь.

Последнее письмо, пришедшее от неизвестной корреспондентки за день до смерти Лачинова, было следующего содержания:

Трижды я видела этот город с неба, когда самолет кружил над ним, чтобы сесть, и каждый раз самолет подолгу делал над городом круги, чтобы присмотреться к месту посадки из-за тех пылей, которые стояли над городом. Город внизу утопал в пыли, но каждый раз за пылями видны были изменения города: там выведены стены нового здания, здесь снесены в вечность развалины древней улицы. В двадцать пятом году в Сталинабаде не было ни одного европейского дома; ныне — это город европейских улиц, зданий с колоннами классицизма ЦИКа и педтехникума, домов, ставших на дыбы стиля века двадцатого, рабочих поселков в палисадах, оркестровой ротонды в городском парке, театра, цирка, площадей, — это я видела с неба, как не видела с неба ни единой церкви и ни единого медресе: этот город возник во времена когда ни церкви ни медресе не строятся.

На земле я узнала, что этот город надо воспринимать именно с самолета. Этот город, который принимает все меры, чтобы стать европейским (электричество, гравийные мостовые, асфальт, парки, аллеи вдоль улиц, театр, симфонические концерты, водопровод), все же не есть город, но есть табор — пусть европейский. Сталинабад строится молниеносно, но Сталинабад каждые полгода удваивает свое население — прогрессией геометрической, и никакое строительство не может угнаться за людьми, а поэтому действительно иные учреждения расположены под чинарами, где вывески учреждений прибиты к стволам чинар, равно как тысячи людей также живут под чинарами или в палатках.

В первый мой прилет я заночевала у спутника с самолета инженера, который, так же как я, впервые прилетел в Сталинабад, но прилетел служить там и сразу получил квартиру в только-что отстроенном доме общежития Главхлопкома. Инженеру отвели квартиру из двух комнат, террасы и кухни. На дворе мы нашли бидоны из-под бензина: это была первая

мебель, которую мы втащили в запахи заново построенных комнат. Но спали мы на газетах.

Во второй мой прилет я жила у товарища Г. В его трех комнатах жило наехавших вроде меня и приехавших работать в Таджикистане но не устроившихся — шесть человек, причем сам товарищ Г. выселился за теснотой от нас на террасу. Я располагала у товарища Г. одеялом в качестве матраца (газеты я клала под матрац), но подушки у меня не было.

В третий мой прилет товарищ Г. был так перенаселен, что я переселилась в столовую товарища С., у которого посторонних людей было только пятеро (кроме бесконечного числа людей приходивших по делам под окошко на террасу и на кухню, наркомов и ответственных работников, обсуждать дела с зампредом совнаркома, лежавшим в бинтах после падения в Каратегине).

Весь город в строительстве. Когда через два месяца я уезжала из Сталинабада, многое из строящегося было закончено, но город по-прежнему пребывал строящимся, ибо новые и новые закладывались дома и улицы. И город пребывал в перенаполнении.

— Все, кто хочет по-настоящему работать и творчествовать, кто хочет видеть им же соделанное, кто хочет быть подлинным социалистом, кто честен и не попирает и не позволяет попираť в себе человеческое достоинство, — поезжайте работать в Таджикистан! Рабочие! Инженеры! Врачи! Агрономы! Нигде в Союзе я не видела такого бережного отношения к людям, как в Таджикистане, и, кажется, нигде в Союзе нет такой нужды в людях, как там.

У меня есть только одна оговорка: те, кто едет в Таджикистан, должны быть честными!

Ибо надо не скрывать, что в Клондайк понаехало больше чем следует жулья, никчемников, бывших, самозванцев, беженцев за длинными рублями, рвачей, — ибо надо сказать, что в этой богатой стране самое ценное — честность и честность умеют ценить; все это касается, разумеется, европейцев. В Клондайк собираются люди со всего света. На улицах

Сталинабада, около дома декханина, на Ленинской площади, в переулочках вокруг базара, переполненных людьми, вы встретите белохалатого индуса, казака в овчинных штанах, бело-громодно-папахого тюрка, чалматого афганца, кроме таджиков, осетин, черкесов, грузин, татар. В толпе ходят русские в брезентовых сапогах, в тропических шлемах.

Я пишу о негативных сторонах Сталинабада. Вокруг базара в переулочках расположены трактирчики и лавочки похожие на притоны, заваленные всяческими колониальными благами и глупостями. В первый мой вечер Сталинабада я была в таком трактирчике. Мы прошли в него через разломанное дувало. Стены трактирчика образованы были из цыновок; потолком были небо да тэнт. Выпитые бутылки бросались в темноту за цыновки. Трактирчик был переполнен. За прилавком красовалась на самом деле красивая женщина, кустодиевская трактирщица. Пьяных было больше чем трезвых. Под тэнтом висели электрические лампочки. Струнный оркестр, сопровождаемый пианино, играл есенинское „Письмо к матери“. Оркестру подпевали пьяные голоса. Нам подали шницели с эстетическим гарниром: посреди подноса красовалась свекла, вырезанная наподобие розы и освещенная изнутри свечою. Скатерти на стол не полагалось. На каждом стуле сидели по-двое. Вдруг сразу — я даже не знаю как рассказать — раздался выстрел. „Письмо к матери“ взвизгнуло и смолкло; люди закричали на десятке разноязычий: несколько рук протянулось к руке, зажавшей браунинг над головами вскочивших; неподвижная кустодиевская хозяйка глазами приказала задвинуть железной решеткой дверь (чтобы не ворвалась милиция); потухло электричество. Все это произошло моментально; через минуту все было по-прежнему: два громадных осетина вежливо тащили на руках и над столиками метрвецки пьяного человека и выволокли его вон из трактира не в главный вход, а в незаметную щель между цыновок. Оркестр заиграл „Ответ матери“; за соседним столиком блаженно плакал от музыки длинноусый, безбородый и лысый старец в тропическом шлеме и в круглых очках, явно славянского происхождения.

Однажды под Сталинабадом на товарища С. и на меня напали бандиты. Мы возвращались на автомобиле из Варзобского ущелья (где строится вместо оврингов и тропы Александра Великого автомобильное шоссе); где строятся: больница, школы для кишлаков, склады Азияхлеба, шелковичные питомники, санаторий. Ни у шофера ни у нас не было с собою оружия; на нас напали двое всадников, русских. Лошади бандитов были отличны. Сейчас длинно рассказывать, как мы отделались от нападения: бандиты были задержаны милицией; у одного из них нашли — фальшивый документ, 10 000 рублей и наган; у другого никаких документов не было, но были 7 000 рублей и бульдог.

В Варзобском же ущельи, где динамитом рвут дорогу, в одной из рабочих партий возникли беспорядки. Из Сталинабада приехала комиссия. Рабочие жаловались на условия работы, на всяческие недостатки, бузотерствовали, отказывались работать, — назавтра было назначено общее собрание. Вечером один из членов комиссии, проходя во мраке мимо рабочей палатки, услышал французскую речь: двое, одетые завзятыми пролетариями, называли по-французски друг друга превосходительством и благородием и обсуждали, как они будут выступать наутро на общем собрании, чтобы повести за собою рабочих.

В Сарай-Комаре я была свидетелем ареста начальника милиции, который, приехав в Сарай, поступил милиционером, выслужился там до начальства и был арестован потому, что он оказался преступником, скрывшимся от суда в РСФСР, убившим в РСФСР жену, изнасиловавшим девочку и укравшим казенные деньги.

Сталинабад — пыльный, перенаселенный город. В Сталинабаде часто слышится музыка похоронных маршей. Тифы (брюшной и персидский), малярия, папатадж здорово работают в Сталинабаде. Больницы в Сталинабаде переполнены больными. Под Сталинабадом есть кишлаки прокаженных. В Таджикистане есть кишлаки, где люди сплошь хворают базедовой болезнью, — это там, где люди пьют ледниковую



обессоленную воду; и есть кишлаки, где люди сплошь страдают камнями в почках, — это там, где люди пьют соленую воду. Мне известен эпизод, когда в Кулябе был разоблачен врач-самозванец, оказавшийся вовсе не врачом, а ... мясником!

А в городе Гарме комиссией товарища С. установлено, что начальником водхоза был старик-инвалид, инженер-теплотехник, пенсионер, помощниками ж его — участковыми техниками — ирригаторами — были: фельдшер, официант и наездник! В горном Таджикистане, на границе Каратегина и Дарваза, в Тоби-Дара я встретила врача, который одновременно был телеграфистом: аппарат Морзе и прочие телеграфные принадлежности помещались в кабинете врача, у него на квартире. Сам по себе этот факт отрицателен, но он указывает, как недостает людей, — врач же взял на себя телеграфирование в порядке общественной нагрузки.

Но мне известны другие факты.

Я встретила в Кулябе врача, который специализируется на изучении базедовой болезни. Этого врача надо назвать счастливейшим человеком. Он делает дело, которому посвятил жизнь. Он говорил, что в Германии есть знаменитый профессор, единственный на земном шаре оператор-базедолог; кулябский врач надеется через несколько лет знать и уметь больше, чем профессор-немец. Этот врач двигает науку. Таджикское правительство всемерно идет навстречу этому врачу. А в Ура-Тюбе я встретила другого врача, который показал мне коллекцию почечных камней, вырезанных им. И этот врач, так же как базедолог, счастлив своею работой: он изучает — и он делает, и ему помогают изучать и работать.

Я писала тебе, мой друг, что в Ходженте есть эфиромасленный завод, производящий душистые эссенции, масла, духи, — завод, как все заводы, с цехами, с машинами, с лабораториями. При этом заводе имеется плантация эфироносных растений, где сейчас растут лаванда, амброзия: где в этом году расцвела, впервые должно быть в СССР, Виктория-регия,

— у этого завода семимиллионный бюджет, директорствует на этом заводе инженер-химик В. С. Исаев. Так вот, три года тому назад этого завода не было в Ходженте; три года тому назад в ходжентский исполком пришел инженер Исаев и сказал, что ходжентские субтропики есть исключительнейшее место для построения эфиромасленного завода. Инженеру Исаеву дали денег; он приступил к никому неизвестной алхимии. Ныне завод единственен в СССР, и завод, как написано в отчете, оказавшемся у меня, „имеет целью сократить импорт эфирных масел, а некоторых прекратить путем удовлетворения потребности рынка СССР за счет социалистического производства ТаджССР“. Пусть каждый, кто умеет любить свое дело и честен к труду, представит себе счастье инженера Исаева, когда под его руками родился завод и расцвела Виктория-регия; это счастье Исаеву дал социалистический Таджикистан.

И я повторяю еще раз: нигде в СССР я не видела такого уважения к инициативе, к труду, как в Таджикистане, в этой стране, строящейся наново, где каждый делающий неминуемо становится новатором, пионером, зачинателем, в этой стране, где все надо начинать от нуля, и где самым ценным чтут честность.

С жульем в Таджикистане расправляются круто.

И как в Таджикистане не хватает людей!

Я говорила о манере жить товарища С. Эти люди, как сотни других, виденных мною в Таджикистане, встают в семь утра и засыпают в два ночи, работая, работая и бодрствуя, бодрствуя, бодрствуя, потому что они, как никто больше, знают концы и начала строительства Таджикистана; они строят и они знают, как дорога, как невозвратима каждая минута строительства — строительства социализма на земле средневековья. Это под их руками и под руками тех, кто работает с ними возникают новые ирригационные системы, новые тысячи га хлопчатников, эфиромасленные заводы, разработки золота, каменного угля, нефти, азбеста. Это они перестраивают человеческие отношения, уничтожая баевщи-

ну, варварство, шариат, перестраивая право на труд.

Это они из пыли и пепла войны со средневековым строят европейский город Сталинабад, где нет ни одной мечети и ни одной церкви. Это они по всей стране, вместо мечетей, строят европейские школы. Я писала о девушке, которая шла с Памира в знание, сравнивая ее путь с путем рождения реки. Таких сотни и тысячи (пионерки, комсомолки).

Сталинабад можно назвать городом молодежи и школ. Девушки и юноши с Памира, с долин, из садов западного Таджикистана учатся в школах, в техникумах, в педтехникумах (чтобы самим стать учителями, которых не хватает), на тракторных курсах, на железнодорожных, на автомобильных, сельскохозяйственных, счетоводных, в совпартшколах... И юнгштурмы комсомольцев, красные галстуки пионеров — среди халатов старины — суть самый частый костюм на улицах Сталинабада.

Дом редакций города Сталинабада — копия дома Наркомпроса. Газеты оттуда идут во все концы Таджикистана, но в этот дом идут люди, которые делают литературу; и в Таджикистане есть уже своя литература. У писателей Таджикистана есть своя общественность, свои течения, подлинная литературная жизнь, подобно тому, как в студиях около Дома декханина собрались артисты, музыканты, певцы, собирающие, восстанавливающие, создающие таджикское искусство.

Таджикские писатели опубликовали свой манифест:

К строителям седьмой союзной республики, к борцам за социалистическую культуру, к работникам Таджикистана, строящим свою практическую деятельность так, чтобы учась, организуясь, сплачиваясь, борясь воспитывать себя и своих соратников по борьбе и строительству, к товарищам, посвящающим свой досуг перу, обращаемся сегодня мы.

Мы — это молодые таджикские литературные зачинатели большого дела, дела организации пролетарской по существу и национальной по форме литературы Таджикистана и о Таджикистане.

Мы стремимся отразить пафос социалистического строительства в Таджикистане.

Ряд глубоких реконструктивных процессов проходит сейчас в Таджикистане: коллективизация декханских хозяйств, еще недавно отгороженных от социалистического строительства высоким дувалом освященной замкнутости и ограниченности, происходящая на фоне все обостряющейся классовой борьбы; индустриализация Таджикистана, строительство фабрик, заводов, гидростанций, железных и шоссейных дорог, мостов, вытеснение омача трактором и плугом, превращение Таджикистана в хлопковую базу и образцовую республику у ворот Индостана; новая школа, книга и газета в кишлаке, фактическое раскрепощение жинщины-таджички. Таковы, в основном, те исторической важности процессы, которые происходят сейчас в Таджикистане. Все эти процессы неотложно требуют своего отражения в полноценном художественном слове.

Все развертывающаяся классовая борьба в городе и кишлаке, специфические формы этой борьбы, растущая активность батрацко-бедняцких и середняцких масс, вопросы производственной смычки, ее успехов и недостатков, внедрение в жизнь кишлака и города новых форм социалистического труда (соцсоревнования, ударничества и т. д.) — также требуют литературно-художественного отображения.

Без организации всех начинающих литературных сил, без опоры на массы, без систематической работы по самовоспитанию, без самокритики в творчестве, без руководства со стороны партии этим большим начинанием мы не сможем создать литературы Таджикистана и о Таджикистане.

Поэтому мы призываем всех начинающих писателей, всех читателей, имеющих желание не только читать, но и творить, всех, кому дороги интересы пролетарской, национальной литературы, примкнуть к нам и принять деятельное участие в нашем начинании.

Вокруг Сталинабада — он лежит в долине — стали горные вершины, покрытые вечным льдом, седое величие космоса. В этом году летом в Сталинабаде были работники ГОТОБ (союзного гос. театра оперы и балета) : они собирали музыку и танцы Таджикистана, чтобы поставить в Москве, в Большом Театре, таджикскую вещь под названием „Горы тронулись“.

Да, горы тронулись. Пять лет тому назад в Сталинабаде не было ни одного европейского дома, не было ни одной арбы — ныне даже горы обеспокоены строительством. С самолета, с неба видно, как перестроена, перестраивается вся Гиссарская долина, где лежит Сталинабад. В средневековьи и в горах кричит поезда — веером от Сталинабада в горы идут автомобильные дороги; через реки строятся и построены мосты, в горах строятся школы, больницы, дома отдыха, санатории. Над Сталинабадом стоит пыль строительства, ночами горы видят необыкновенное — как светится, как горит электричеством Сталинабад; горы долго кидаются паровозным эхо. Но город Сталинабад не спит даже ночами. В колоссальном и прекрасном напряжении строительства социализма, когда за щебнем и мусором (людским, в частности) возникают ежемесячно новые улицы, новые дома, новые дела и новые человеческие отношения.

Да, новые человеческие отношения! — помнишь, я писала тебе, мой друг, с просьбой открыть „Войну и мир“ Толстого и выписать инстинкты и желания, определяющие поведение персонажей романов Толстого. Здесь, в Сталинабаде, у меня был ночной разговор с тем самым инженером, с которым я впервые прилетела в Сталинабад и у которого ночевала, застелив пол газетами. Его фамилия Владимиров. Он — ссыльный. Расскажу тебе о судьбе этого человека, сосланного по воле ГПУ. Этот инженер начал свою карьеру бурильщиком у Нобеля, значит это способный человек. Этот инженер-самоучка получал от Нобеля до революции 60 тысяч рублей в год, он имел от Нобеля акции, он имел от Нобеля яхту, на которой ходил от Нижнего Новгорода, где он жил,

до Баку, ибо вся Волга от Нижнего до Баку была полем его деятельности. Бурильщик, инженер, директор у Нобеля. Блестящая карьера, деньги, авторитет. Огромные способности, честность. Демократ. Английский язык. Английский образ жизни. Поездки за границу. Дома, для себя — новгородские, отцовские традиции, произношение на „о”, церковь в воскресенье, но дети — англичане, английская школа зимой, английские воспитатели летом на Волге. Капиталистическая карьера. Революция. Гражданская война. Инженер Владимиров остался на нашей стороне баррикады. Коллеги Владимирова оказались вместе с Нобелем в Париже. Владимир занимал принципиальную позицию: „Я не работаю для Нобеля или для большевиков, я работаю для дела”. Инженер Владимиров остался на прежних должностях, управлял нефтью в Грозном. Лишился яхты. Его сбережения в банках пропали. Его жалованье сократилось с пяти тысяч рублей золотом в месяц до одной тысячи советских рублей. Инженер Владимиров по-прежнему ходил по воскресеньям в церковь. Его дети разбежались по миру, аж до Буфало. Он переехал в Москву, в две комнаты коммунального дома. Постоянно был в разъездах — из Москвы в Грозный. Как всегда был честен. Однажды по делам советской нефти был в Париже. В парижском ресторане встретил коллегу по работе у Нобеля, коллега присел к нему, а потом позвонил, что Нобель хотел бы с ним встретиться. Владимиров от встречи уклонился. Инженер Владимиров хорошо работал, это был человек, который боролся с физической старостью, деятельный, активный. Он делал только то, что соответствовало его убеждениям. Он работал только для успеха „дела”. И — был арестован ГПУ как вредитель. Я встретила с ним, ссыльным, на самолете в Таджикистане. ГПУ раздобыло список инженеров, на которых Нобель рассчитывал опереться, если бы он вернулся на свои шахты. Одним из первых фигурировал там Владимиров. Мог бы Нобель рассчитывать на Владимирова, несмотря даже на то, что Владимиров не захотел встретиться с Нобелем за границей? — мог. Ибо

Владимиров не работал для большевиков, ни для Нобеля, а работал — для дела. Следовательно, если он служил у Нобеля (и больше получал) и служил у большевиков, он, конечно, снова стал бы служить у Нобеля, если бы „дело” вновь оказалось в руках Нобеля. Но не это главное. Владимиров окружали партийные треугольники, фабзавкомы, ячейки — понятия для него неясные и, по его мнению, излишние. И окружали его люди. Приходили к нему люди в рубашках, с расстегнутым от волнения воротом, в их словарь входили слова — штурм, соцсоревнование, коммунистическая справедливость, социалистические принципы производства и другие подобные. Владимирову все это казалось современной „литературой” — молодые, большевистские инженеры. Они были чужды Владимирову своим разговором, своим образом жизни, были ему чужды нравами и мировоззрением. Что касается мировоззрения, то Владимиров ни разу не позволил себе в свободное время подумать о мировоззрении этой молодежи, считая его глупостью. Но и собственное „мировоззрение” он, по недостатку времени, не проверял с детства, оставив таким, каким его сформировала жизнь. Эти люди, эти молодые инженеры могли разговаривать с Владимировым только по делам производства, они не могли при нем пошутить о московской „Стрельне”, не могли пригласить к себе на партию винта. Их женам, ходившим в красных платочках, Владимиров не мог послать поклон, не мог поцеловать руку. У этих людей были собственные взгляды на нефтяное производство, отличавшееся от взглядов Владимирова. Когда правительство — это лишь пример — выделяло средства на повышение производства, большевистские инженеры настаивали на израсходовании части денег на агитацию, на расширение сети фабричных школ, красных уголков, стенгазет, рабочих коммунальных домов и т. п. Владимирову это казалось совершенно ненужным растратыванием денег, тем более, что в красные уголки он не ходил, а стенгазеты, по его мнению, публиковали только малограмотные доносы. И Владимиров — честный человек —

использовал весь свой авторитет для борьбы с этими молодыми инженерами. К Владимирову приходили инженеры другого типа. Их галстуки были тщательно вывязаны. Они говорили на литературном языке общих для них понятий. Они могли вспомнить партию винта, разыгранную на прошлой неделе с Владимировым, московскую „Стрельну” и даже „Мулен Руж”. Их жены были воспитаны так же, как жена Владимирова, окончившая некогда новгородский институт для благородных девиц, дамы разговаривали о платьях, красиво накрывали стол, рассказывали мужьям о новых переводных романах. Взгляды этих инженеров на строительство и нефтяное дело совпадали с взглядами Владимирова. Они убеждали Владимирова, и Владимир согласился с ними, что для увеличения доходности предприятия, для доходности „дела”, лучше пробурить еще один ствол, чем построить еще одну фабричную школу или красный уголок. Инженеры играли между собой в винт и теннис. И Владимир всем авторитетом честности защищал „дело”. Владимир был слишком большой и дорогой фигурой, чтобы Нобель мог его купить, двое из инженеров, игравших с Владимировым в винт, флиртовавших с дамами за ужином, были Нобелем куплены. Кроме списков тех, на кого Нобель рассчитывал опереться, ГПУ перехватило также записку с инструкциями, которые Нобель давал своим агентам. Нобелю — это лишь пример — вовсе не нужны были фабричные школы, красные уголки, стенгазеты, агитация, ибо это перестраивало сознание рабочих, ибо молодежь, в особенности, пройдя фабричную школу, считала предприятие своей собственностью и, не дай Боже, после возвращения Нобеля зубами защищала бы свое право хозяев предприятия. Присланная Нобелем инструкция совершенно не совпадала с инструкциями большевистских инженеров в рабочих рубахах, ибо капиталистические основы строительства промышленности совершенно не совпадают с принципами социалистическими. Но поразительным образом эта инструкция совпадала с методами, которые проводил в жизнь



инженер и директор Владимиров. Владимиров, человек субъективно честный, объективно оказался вредителем. Это произошло потому, что инстинкты и желания Владимирова, его взгляд на „дело” — были капиталистическими.

Дорогой друг! Я провела несколько ночей в разговорах с Владимировым. Он ищет нефть и строит нефтяную промышленность в Таджикистане. Вы спросите, почему ГПУ сослало его, если он был честным человеком? — и почему, сославши, дало ему работу? Это очень просто. Его субъективная честность и объективное вредительство в огромном нефтяном строительстве обошлись СССР и революции в несколько миллионов рублей человеческого труда, и в несколько тысяч человеческих жизней. Ведь даже шофер, который никого не хотел задавить, а задавил двадцать человек, ибо не умел ездить, не только теряет права, но и отвечает за человеческие жизни. А работу в Таджикистане дали ему именно потому, что он честен и нашел в себе силы, чтобы задуматься над смыслом жизни, и над „политикой”. Теперь его окружает молодежь в рабочих рубашках. Он перестраивает, перестроил свое мировоззрение. Он отрекся от старого мира. Он оказался самым молодым среди молодежи, этот пожилой, обладающий огромным авторитетом, человек. Я говорю не только о мировоззрении, но и об инстинктах.

Человек, который хочет быть в том, что реально, который хочет быть настоящим человеком, — должен переделать и передумать самого себя до инстинктов включительно. Но я говорю не об инстинктах. Я часто присматриваюсь к людям, наблюдаю их слова и поступки — здесь в Таджикистане это особенно интересно — и вижу как у многих, среди тех, кто ходит возле нас, перепутаны инстинкты, в каком они страшном хаосе и противоречиях. Милый друг, проверь свои инстинкты! — проверь на своих поступках, как я советовала тебе проверить инстинкты у Льва Толстого — реши, где ты, кто ты — помни об инстинктах.

Милый, старый друг!..  
Твоя...

Тела Александра Лачинова и Владимира Обопыня нашли в ста километрах от Москвы, вдали от железной дороги. Николай Лачинов не поехал на место катастрофы и с минуты на минуту ожидал трупы в Москве, в квартире брата. В день ожидания произошло несколько странных событий. С утра пришел рассыльный, оставил сверток. В свертке были вещи, отобранные бандитами у Обопыня, револьвер, бумажник, часы, и было письмо:

„Дорогой боевой товарищ и командир! Володя! пишет тебе твой боевой товарищ и рядовой красноармеец, Семен Клестов, с которым вместе ты тащил боевых мертвецов в Кубанских степях. Просмотрел я твои документы и сердце мое кровью облилось, как разъехались наши дороги ты ответственный работник, летчик, а меня судьба вывела на большую дорогу. Прости меня, что тогда в темноте я тебя не узнал. Очень хотел я к тебе зайти старое помянуть, да сам понимаешь, не статья мне в ваши владения ходить.

Низко кланяюсь тебе дорогой боевой товарищ и командир Володя Обопынь и остаюсь рядовой Семен Клестов“.

В полдень в передней раздался звонок и вошел человек, который сказал, что он украинский писатель по имени Микола Стеценко.

— Вы, наверное, пришли к моему брату? — спросил Николай Лачинов.

— Нет, я пришел к вам, — ответил Стеценко. — Это вы командовали красной партизанской сотней на Кубани и в Крыму?

— Да, я, — ответил Николай Лачинов.

— В таком случае выслушайте меня не прерывая, очень прошу. Мне трудно говорить с вами и мне трудно коротко рассказать о том, что повлияло на все мои последние годы. Моя жена, Ангелина Андреевна, две недели назад умерла в Таджикистане, умерла в приступе нервной болезни. Вы никогда не знали ее имени. Вы знаете о чем я говорю. Вы видели ее два раза. Она была моей невестой, гражданская война нас разделила, она была девицей. Первый раз вы встретились

с ней в кубанской степной больнице и она отдалась вам.

Николай Лачинов возразил движением руки.

— Прошу вас, не прерывайте меня, — истерично крикнул Микола Стеценко и начал говорить спокойно, как до этого, как уверенный в себе оратор. — Это было первый раз и это имеет второстепенное значение. Через месяц после болезни она была на митинге, на котором вы председательствовали, слушала ваши речи о социализме, и это, а также тот факт, что вы были ее первым мужчиной, определил ее судьбу. Вы не помните, что обменялись с ней тогда несколькими фразами, не помните того, что ей говорили — конечно, советовали ей стать революционеркой. Очень редко, но так бывает в жизни — приходите на концерт, открываете книгу и вдруг слова книги или музыка переполняют вас, погружают в оцепенение, вам кажется, что это не только создано вами, о вас, но что это больше вас, что это вас открывает, воссоздает вас заново. Так прозвучали ваши слова и вы для Анжелины Андреевны. Затем она видела все ваши роли в театре, она приезжала в Москву, чтобы посмотреть каждую вашу новую роль. Она была моей женой. Вы помните, семь лет назад вы просили меня опубликовать ваше письмо в редакцию, чтобы найти вашу корреспондентку. Я относил все письма Анжелины Андреевны на почту. Я их не читал, но я уверен, что это не были письма любовницы. Ангелина Андреевна была моей женой, она делила со мной жизнь. Но должен вам сказать, что вы забрали из нашей семьи то, что называется душой. Вы каждую минуту присутствовали в нашем доме. Ангелина Андреевна жила для вас. Ангелина Андреевна жила раздвоенной жизнью, обыденную жизнь и тело она отдала мне, душу и мысли отдала вам. Она никогда не хотела, чтобы вы знали о ее существовании, она боялась вас после кубанской ночи и разговора с вами на кубанском митинге. Она получала нервное расстройство после ваших выступлений в театре, ибо вы воплощали ее в себе. Она умерла и я счел своим долгом сказать вам об этом. Быть может понятие муж было разделено между нами, она раздвоилась для нас обоих.

Ни в поведении, ни в интонациях голоса Миколы Стеценко не было теплоты. Николай Лачинов, волнуясь, сказал:

— Вы говорили страшные вещи. Это не касается меня. Я участвую в этом, может быть, только моим выступлением на митинге. Брат говорил мне о письмах вашей жены, она была коммунисткой, так как и я. Но никаких отношений с вашей женой на Кубани у меня не было.

— Неправда, — твердо сказал Микола Стеценко, — Вы говорили на митинге о том, как в Крыму, на Ай-Петри, вы ощутили, как земля закачалась от революции. Ангелина Андреевна всю жизнь думала, что эти слова относятся к ней.

— Да, я говорил о том, что однажды ощутил на Ай-Петри, о том, что неподвижны были только я и солнце. Я использовал этот образ на митингах, но вас никогда не видел — это все касается моего брата. Вы, наверное, не знаете, что я и мой брат, Александр Лачинов, мы близнецы, двойники. Кубанский эпизод в больнице случился, наверное, с моим братом. Что касается меня, то я действительно участвовал в гражданской войне, а мой брат не был на войне. Я не актер, а инженер. Мой брат погиб сегодня ночью в авиационной катастрофе. С минуты на минуту должны принести его тело.

Николай Лачинов поймал себя на мысли, что говорит хаотично, и на другой мысли, что кажется, однако, он имел определенное влияние на судьбу этой женщины.

— Митинг... да, мой брат никогда не выступал на митингах.

Микола Стеценко смотрел презрительно, холодный наблюдатель. Николай Лачинов почувствовал, что во всем этом есть что-то неясное. Он не любил неясности. Микола Стеценко осмотрел комнату, презирая трусость Лачинова, его взгляд задержался на мумии. Стеценко вновь принудил себя к полному напряжения равнодушию.

— Вы говорите, что Александр Кириллович Лачинов это не вы и что тот погиб? Во всяком случае, я рассказал вам то, что рассказал, — твердо и спокойно возразил Стеценко, а потом беспокойно добавил:

— Это, кажется, мумия? Как странно она похожа на мою жену...

Николай Лачинов во время разговора не слышал звонка в передней. В кабинет вошла Ядвига Фелициановна. Она шла как лунатичка. Ее руки были протянуты к Николаю Лачинову. Она остановилась перед Лачиновым.

— Вы не пришли сегодня утром ко мне, а я не могу быть одна. Я с ужасом смотрю на окно. Я не могу быть одна. Не покидайте меня.

— Ядвига Фелициановна! — громко сказал Николай Лачинов, вставая с дивана. — Я не Александр Кириллович, а Николай Кириллович, коллега вашего мужа. Ядвига Фелициановна, Александр Кириллович сегодня на рассвете разбился в авиационной катастрофе вместе с Обопынем.

Ядвига Фелициановна потеряла сознание.

Двери распахнулись настежь и в комнату ввалилась группа, состоявшая из десятка актеров. Они были очень обеспокоены и — внезапно охватила их веселость. Они кинулись на Николая Лачинова лавиной рукопожатий, похлопываний, криков.

— Александр, дорогой, мне звонил Степан Кузнецов, который сейчас придет сюда...

— Мне позвонил, что упал самолет...

— Кто автор этой мистификации? Гаркави?..

— Как мы рады...

— Ну, давай поцелуемся...

Николай Лачинов крикнул:

— Я не Александр Кириллович! Александр Кириллович Лачинов действительно разбился сегодня на рассвете.

Актер, стоявший ближе всех к Лачинову, похлопал его по плечу и сказал дружеским басом:

— Перестань шутить, и так напугал всю Москву, мы знаем про твоего брата! Вели дать водки, сейчас старики придут...

— Господа, поднимите даму с пола...

Николай Лачинов не любил неясности. Присутствие на похоронах, даже на улицах Москвы, где многие узнавали в нем Александра Лачинова, вызвало у Николая странное и болезненное чувство полусмерти — собственной полу-

смерти. Лачинову кланялись незнакомые люди и начинали с ним говорить, как с человеком, вернувшимся из гроба. Лачинов не принадлежал себе. Мысли о смерти брата загоняли его самого в гроб. Временами все это казалось ему бредом. Он не любил неясности и уехал на строительство, на Полюдовую гору, не завершив всех московских дел. Брата он не жалел. У Николая Лачинова не было в распоряжении самолета и он поехал по воде.

От дней Петра каждый завод на Урале помнит хорошее столетие быта, — и все заводы построены, как один. Леса кругом, глубокая здесь издревле лежала балка, по дну ее протекал ручей, или речуга, — и речугу заплотинили плотиной, иной раз верст на пять длиной: и с одной стороны плотины возникал огромный пруд, целое озеро, а с другой — в овраге, в лощине под плотиной ставился тогда завод. Так делалось к тому, чтоб, кроме кабальных рабочих рук, пользоваться еще бесплатную водяную энергию, — силою воды пускали завод.

Каждая такая плотина помнит столетие, — заводы стоят в сырости, в оврагах, прокоптились, одряхлели, на заводах работают в ручную, — на заводах в домнах и мартенах плавят чугун и сталь, как плавил столетие тому назад, — не каменным -- древесным углем, деревом, дровами: и у каждой заводской плотины — огромные сплавы дров, и пыхтит двигатель на лесопилке, готовя топливо заводу. И направо и налево от заводов, подпирая лес, в леса влезая, стоят прокопченные, приземистые, широкопазые избенки рабочего поселка. Рабочие здесь — вручную льют чугун, вручную мнут болванку, а дома пашут землю, ловят рыбу и пасут скотину (и такие горькие ботала звенят на шеях у скотины!). Рабочие с поселков остались здесь от крепостных и „государственных“ крестьян.

Красный месяц поднимается на востоке, красною раною уходит солнце на западе, защитившись огненными щитами облаков: по лощинам в синей мгле лесов, меж гор вспыхивают красные раны мартенов — на Чермозе, на Майкоре, на Пожве, на Кувине, на Чусовой.

На заводах, на заводе из кусков чугуна („штыкового“, „полового“, „изложницы“, „скардовника“), почти вручную, первобытно, почти как при Петре, выковывают серпы, косы, рельсы, чаны, котлы, кровельное железо.

Потому что здесь работают первобытно, здесь на каждой пачке железа мастер пишет свое имя, отчество и фамилию — Карп Маркович Железняков.

На заводе тесно, копотно, все старо, все завалено столетним мусором, вагончики таскают вручную. — Над заводом, за плотиной — простор озера. — Избы на поселке — широкопазы, с коньками на крышах, вестниками путины.

Николай Лачинов с поезда пересел на пароход. До отплытия парохода ночевал у старого знакомого, военкома.

— Сколько верст до твоей стройки? — спросил военком.

— Семьсот, — ответил Лачинов.

Военком рассказал, как он ездил на регистрацию в село Мыелдино, за пятьсот верст. Там, в селе, все сидели по домам, в новой одежде; военком приказал показать ему для регистрации лошадей, — ему ответили, что лошадей показывать не стоит, ибо все равно завтра в девять часов утра будет конец света. Так никто и не шевельнул пальцем, сидели по домам и торжественно ждали. Военкому пришлось прождать до двенадцати часов дня, когда привели лошадей, решив, должно быть, что конец света отложен. Военком же рассказывал, как в селах здесь даются мандаты: — „Сельский совет, СССР и прочее“, а затем вместо всяких слов хлебом приклеено гусиное перо и крестик по неграмотности. Мандат такой значит: — „вези такого-то, как перо!“ — и мчат лесные народы по такому мандату — как пух — на лодках, телегах и оленях.

Ночью Лачинов услышал, как кто-то в темноте возится с лошадьми, понукает, двигает телегу, складывает вещи. Лачинов спросил, в чем дело. Ему ответили:

— А это студенты. С парохода едут на станцию. Уезжают в Москву. Каждую ночь так.

От времени до времени капитан парохода кричал:

— Граждане пассажиры, на корму!

Пассажиры шли на корму, — пароход проползал половину мели, — тогда — по команде капитана — пассажиры шли на нос.

Затем пароход застрял окончательно на мели, стоял сутки, пока не пришел второй пароход взять пассажиров.

На пароходе было человек десять случайных пассажиров, и было человек полтораста студентов. Это было то, что леса, болота, озера Коми-области выделили из себя, послали за знанием. Два рабочих-студента были со стройки Николая Лачинова. Каждый помнит с картинок из учебников географии старинные русские шляпы из войлока, вроде ведерок, — гречневтики: студенты ехали в расшитых рубахах и в таких шляпах. Студентки ехали в сапогах и в платочках.

В ту ночь, когда пароход стал на мели, студенты сходили на берег, Лачинов присматривался к ним. Был зеленый, тихий — последний перед осенью — вечер, капал дождь и переставал, перестал. Лес стоял безмолвный, ельник и сосна, под ногами песок. Ныли последние комары. В просторном мраке, неподалеку, позванивали — глухо, медленно — ботала на шеях коров, — тех коров, около которых сидят ежевечерне миллионы русских баб, — ботала перезванивали на разные голоса. И от этого звука и от тихой ночи было покойно и мирно. Студенты разложили костер, пели около него песни. Лачинов присматривался в зеленом мраке: лицо зырянской девушки, широкое, здоровое, некрасивое, — только глаза за пенснэ: — какие? как определить? — лесные глаза! — Девушка говорила медленно, очень на о, очень открытыми звуками. — Она кончит в этом году университет. Ее зовут: Юлга-Елень. Она очень покойна, — только эти глаза, — какие? как передать? —

— В детстве ее водили молиться богам в лес, — сказал студент рядом, — а теперь она комсомолка.

Лачинов думал о том, что эти студенты, „оттесняемые” (зырянин значит: оттесняемый; так русские называли коми-народ) из леса к знаниям, ехали за счет распада энергии брата Александра и Ядвиги Фелициановны, которые были в этих лесах и связали здесь свою судьбу.



А на заводе у Полюдовой лощины, в этот час, в лаборатории — таинственнейше, таинственнейше светом звезд, луны, мумии и всего ночного, — светились, флюорисцировали, распадались радиевые руды, чтобы — внести ясность.

**Примечание к странице 29:**

Жена Лачинова вспоминает слова Гейне, взятые Пильняком эпиграфом к роману *Иван Москва*:

Und mein Stamm jene Asra,  
Welche Sterben, wenn Sie lieben